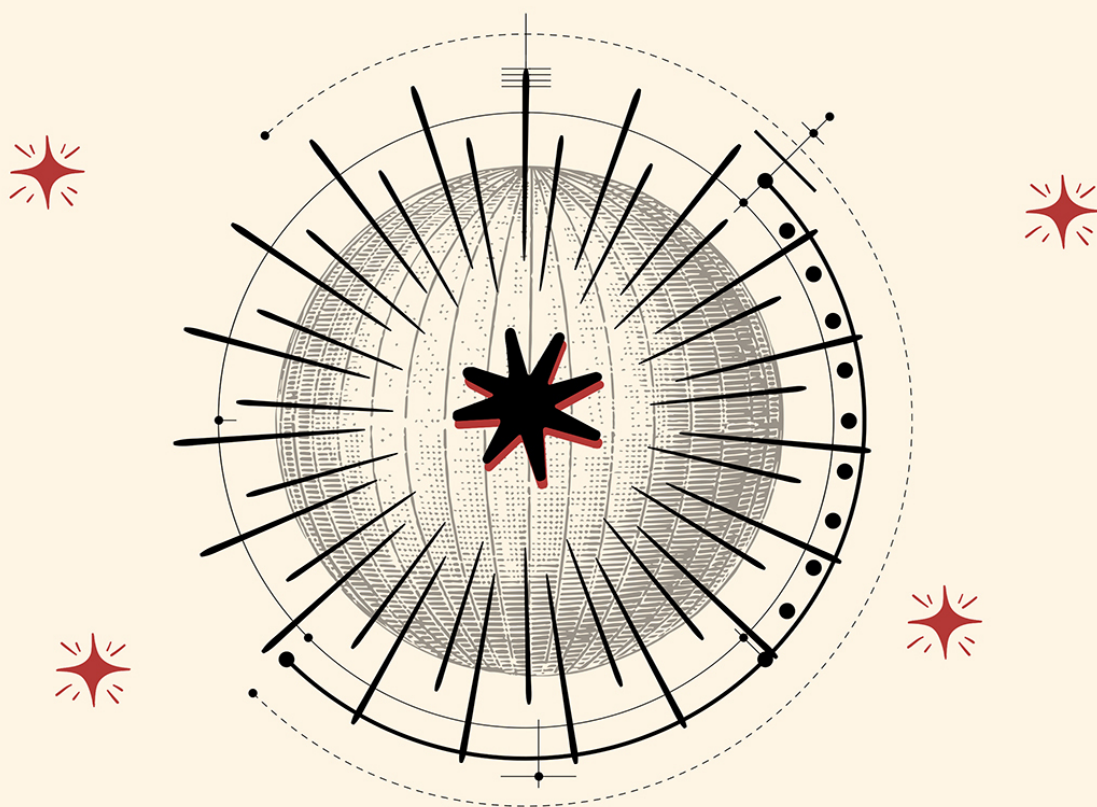


INSPIRIA «Монументальный роман. Он мог бы помочь Шведской академии восстановить свою довольно пошатнувшуюся репутацию арбитра серьезной литературы. Здесь история зиждется на вере в то, что знание обладает сверхъестественными силами».

Wall Street Journal

ОЛЬГА ТОКАРЧУК



КНИГИ ЯКОВА

Loft. Ольга Токарчук

Ольга Токарчук

Книги Якова

«ЭКСМО»

2014

УДК 821.162.1-31
ББК 84(4Пол)-44

Токарчук О.

Книги Якова / О. Токарчук — «Эксмо», 2014 — (Loft. Ольга Токарчук)

ISBN 978-5-04-184640-4

Середина XVIII века. Новые идеи и новые волнения охватывают весь континент. В это время молодой еврей Яков Франк прибывает в маленькую деревню в Польше. Именно здесь начинается его паломничество, которое за десятилетие соберет небывалое количество последователей. Яков Франк пересечет Габсбургскую и Османскую империи, снова и снова изобретая себя самого. Он перейдет в ислам, в католицизм, подвергнется наказанию у позорного столба как еретик и будет почитаться как Мессия. За хаосом его мысли будет наблюдать весь мир, перешептываясь о странных ритуалах его секты. История Якова Франка – реальной исторической личности, вокруг которой по сей день ведутся споры, – идеальное полотно для гениальности и беспримерного размаха Ольги Токарчук. Рассказ от лица его современников – тех, кто почитает его, тех, кто ругает его, тех, кто любит его, и тех, кто в конечном итоге предаёт его, – «Книги Якова» запечатлевают мир на пороге крутых перемен и вдохновляют на веру в себя и свои возможности.

УДК 821.162.1-31
ББК 84(4Пол)-44

ISBN 978-5-04-184640-4

© Токарчук О., 2014
© Эксмо, 2014

Содержание

Пролог	7
I	8
1	9
1752 год, Рогатин	9
2	22
О роковой рессоре и женском недомогании Катажины Коссаковской	22
Кровь на шелке	23
Белый конец стола в доме старосты Лабенцкого	24
3	29
Об Ашере Рубине и его мрачных мыслях	29
Пчелиный улей, или Дом и семейство рогатинских Шоров	30
В бейт-мидраше	33
Ента, или Неподходящий момент для смерти	35
Что говорится в Зоаре	38
О проглоченном амулете	38
4	41
Марьяж и фараон	41
Polonia est paradisus Judaeorum... [27]	42
О плебании в Фирлеюве и ее обитателе – грешном пастыре	44
Ксендз Хмелёвский пытается написать письмо пани Дружбацкой	51
Эльжбета Дружбацкая пишет ксендзу Хмелёвскому	52
Епископ Солтык пишет письмо папскому нунцию	53
Зелик	56
II	59
5	60
О том, как из усталости Бога рождается мир	60
6	77
О свадебном госте, чужестранце в белых чулках и сандалиях	77
Рассказ Нахмана, в котором впервые звучит имя Якова	78
Школа Иссахара, и кем, собственно, является Бог.	81
Продолжение рассказа Нахмана бен-Леви из Буска	
О простаке Якове и податях	84
О том, как Нахман предстает перед Нахманом, или Семя тьмы и ядрышко света	86
О камнях и беглеце с ужасным лицом	87
Как Нахман попадает к Енте и засыпает на полу у ее постели	89
О дальнейших путешествиях Енты во времени	92
О страшных последствиях исчезновения амулета	94
Что гласит Книга Зоар	95
Рассказ Песеле о подгаецком козле и странной траве	96
Ксендз Хмелёвский пишет пани Дружбацкой. Январь 1753 года, Фирлеюв	97

7		99
	История Енты	99
8		110
	Мед, не съесть его слишком много, или Учеба в школе	110
	Иссахара в Смирне, в турецких краях	
9		118
	О свадьбе в Никополе, тайне под балдахином и	118
	преимуществах, какими обладает чужак	
	В Крайове. О торговле по праздникам и о Гершеле,	122
	столкнувшемся с дилеммой вишни	
	О жемчуге и Хане	125
10		128
	Кем является тот, кто собирает травы на Афоне	128
11		133
	Как в городе Крайове Моливда-Коссаковский встречает	133
	Якова	
	История ясновельможного пана Моливды, Антония	135
	Коссаковского, герб Слеповрон, фамильное прозвание	
	Корвин	
	О том, что заставляет людей тянуться друг к другу, и	138
	некоторые договоренности относительно переселения душ	
	Рассказ Якова о кольце	141
12		146
	О паломничестве Якова к могиле Натана из Газы	146
	О том, как Нахман идет по стопам Якова	146
	Конец ознакомительного фрагмента.	148

Ольга Токарчук

Книги Якова

Olga Tokarczuk

KSIEGI JAKUBOWE

Copyright © Olga Tokarczuk 2014

© Адельгейм И., перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Родителям

Пролог

Проглоченная бумажка застревает в пищеводе, где-то на уровне сердца. Пропитывается слюной. Черные, специально приготовленные чернила постепенно расплываются, и буквы теряют форму. В человеческом теле слово разделяется надвое: материю и сущность. Когда первая тает, вторую, утратившую форму, поглощают ткани тела, ибо сущность всегда нуждается в материальном носителе; даже если это чревато множеством несчастий.

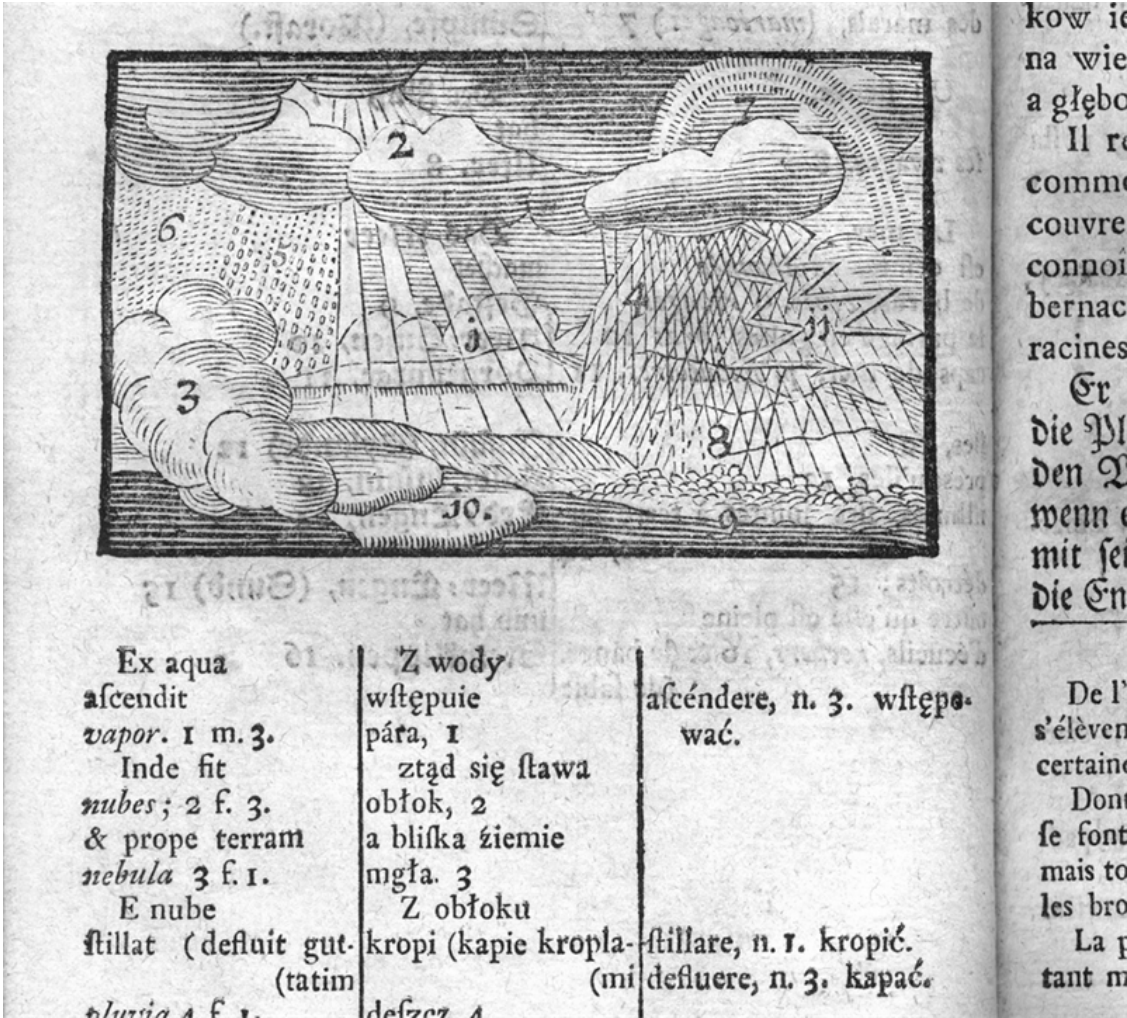
Ента просыпается, а ведь она была уже почти мертва. Теперь она это ясно ощущает, это подобно боли, течению реки, содроганию, давлению, движению.

В районе сердца опять возникает легкая вибрация, сердце бьется слабо, но мерно, уверенно. Иссохшая грудь вновь наполняется теплом. Ента моргает и с трудом поднимает веки. Видит склонившееся над ней обеспокоенное лицо Элиши Шора. Пытается улыбнуться, но лицо плохо ее слушается. Элиша Шор хмурит брови, смотрит укоризненно. Его губы шевелятся, но ушей Енты голос не достигает. Откуда-то появляются руки – крупные руки старика Шора, они тянутся к шее Енты, забираются под одеяло. Шор делает неловкую попытку повернуть беспомощное тело и заглянуть под него, рассмотреть простыню. Нет, Ента не чувствует его усилий, она ощущает лишь тепло и присутствие бородатого, потного мужчины.

Затем внезапно, словно по мановению чьей-то руки, Ента видит всё сверху – себя и лысеющую макушку Шора, с которой, пока старик возился с телом, упала кипа.

Отныне так оно и будет: Ента видит всё.

I
Книга Тумана



Ris 5. Ksiega mgly_kadr

1

1752 год, Рогатин

Конец октября, раннее утро. Ксендз-декан стоит на крыльце плебании и ждет коляску. Он привык вставать на рассвете, но сейчас его клонит в сон, и ксендз, в сущности, плохо понимает, как очутился здесь – один на один с морем тумана. Не помнит, как встал, как оделся и позавтракал ли. С удивлением смотрит на свои крепкие ботинки, выглядывающие из-под сутаны, на слегка обтерханные полы выцветшего шерстяного пальто и перчатки, которые держит в руке. Натягивает левую; внутри она кажется теплой и идеально облегает ладонь, словно рука и перчатка – давние знакомые. Ксендз облегченно вздыхает. Касается висящей на плече сумки, машинально ощупывает ее прямоугольные края, плотные утолщения, напоминающие шрамы под кожей, и медленно вспоминает, что там внутри – массивные, привычные, милые сердцу формы. Что-то хорошее привело ксендза сюда – какие-то слова, какие-то знаки, глубинно связанные с его жизнью. О да, он вспомнил, что там, и эта мысль постепенно согревает его тело, а туман делается словно бы прозрачнее. За спиной у него темный проем двери, одна створка закрыта, должно быть, уже настали холода, возможно, даже заморозки прихватили сливы в саду. Над дверью неразборчивая надпись – ксендзу нет нужды поворачиваться, чтобы ее увидеть, поскольку он знает, что там написано, сам ведь обо всем распорядился; два мастера из Подгайцев целую неделю резали буквы по дереву – он велел сделать фигурные:

ЧТО ДНЕСЬ СЛУЧИТСЯ, ЗАВТРА УЖ МИНУЕТ.

QUID TRAISIET ADSEQUI NON POTES¹.

В слове *transiet* – что его очень раздражает – буква N написана наоборот, точно в зеркальном отображении.

Уже в который раз досадуя по этому поводу, ксендз сердито качает головой – и окончательно просыпается. Буква перевернута – получилось «И»... Какая небрежность! Вечно приходится смотреть им на руки, следить за каждым шагом. А поскольку эти умельцы – евреи, надпись вышла тоже какая-то еврейская, буквы слишком вычурные, шаткие. Один из них еще принялся спорить: мол, «И» тоже годится, так даже красивее, потому что перекадина идет снизу вверх и слева направо, по-христиански, вот наоборот – получилось бы как раз по-еврейски. Легкое раздражение приводит его в чувство, и теперь ксендз Бенедикт Хмелёвский, рогатинский декан, понимает, откуда взялось ощущение, будто он все еще спит: окутавший его туман имеет цвет постельного белья, сероватый – утратившая чистоту белизна, на которую наступает грязь, огромные залежи серого, подкладка мира. Туман неподвижен, плотно заполняет весь двор, за ним вырисовываются знакомые очертания большой груши, ограды, а дальше – плетеной коляски. Просто небесное облако, упавшее на землю и прильнувшее к ней брюхом. Вчера ксендз читал об этом у Коменского.

Теперь он слышит знакомые скрип и тарактение, которые неизменно, при каждой поездке, погружают его в состояние творческой медитации. И лишь потом, вслед за звуками, проступают из тумана Рошко, ведущий под уздцы лошадь, и коляска. При виде ее ксендз ощущает прилив энергии, хлопает перчаткой по руке и взбирается на сиденье. Рошко, как всегда молчаливый, поправляет упряжь и бросает на ксендза долгий взгляд. Туман окрашивает его лицо в серый цвет, сейчас он кажется ксендзу старше, чем обычно, будто постарел за ночь, а ведь это молодой парень.

¹ Что пройдет, того не догнать (*лат.*). (Здесь и далее – прим. пер.)

Наконец они трогаются, но такое ощущение, будто стоят на месте: о движении свидетельствуют только колыхание коляски да умиротворяющее поскрипывание. Ксендз с Рошко столь часто ездили по этой дороге, на протяжении стольких лет, что нет нужды любоваться видами и искать ориентиры. Ксендз знает, что сейчас они выехали на дорогу, которая идет вдоль опушки леса, и будут по ней двигаться до развилки, где стоит часовенка, им же самим и построенная – много лет назад, когда он принял приход в Фирлеюве. Отец Хмелёвский долго размышлял, кого бы в эту часовню поместить, колебался: то ли святого Бенедикта, своего покровителя, то ли Онуфрия, отшельника, которого в пустыне чудесным образом питала финиками пальма и которому каждый восьмой день ангелы приносили с неба Тело Христово. Ведь и самому Фирлеюву предстояло стать подобной пустыней для ксендза, который прибыл сюда после долгих лет, отданных воспитанию сына Его Милости пана Яблоновского, Дмитрия. Однако хорошо все обдумав, отец Хмелёвский решил, что часовня выстроена не для него и не с целью потакать его гордыне, а ради блага простых людей, чтобы на распутье им было где передохнуть и вознести свои мысли к небесам. И взойшла на побеленный каменный цоколь Богоматерь, Царица Небесная, с короной на голове. Под ее остроносой туфелькой вилась змея.

Но сегодня в тумане тонут и Богоматерь, и часовня, и крест. Видны лишь верхушки деревьев – признак того, что туман начинает рассеиваться.

– Гляньте-ка, отец, нейдет Каська, – хмуро говорит Рошко, когда коляска останавливается. Рошко слезает с козел и несколько раз размашисто крестится.

Потом наклоняется и заглядывает в туман, будто в воду. Из-под красного армяка, парадного, хоть и слегка выцветшего, выпрастывается рубаха.

– Не знаю, куда ехать, – говорит он.

– Как это не знаешь? Ведь мы уже на Рогатинском тракте, – удивляется ксендз.

И тем не менее! Декан вылезает из коляски и следует за слугой, они с Рошко беспомощно обходят экипаж, напрягая зрение и вглядываясь в белизну тумана. Вроде бы что-то видят, но глаза, которым не за что зацепиться, лукавят. Вот так история! В трех соснах заблудиться...

– Тихо! – внезапно говорит ксендз и, подняв палец, прислушивается. В самом деле, откуда-то слева, из клубов тумана, доносится едва слышный плеск воды.

– Давай на этот шум. Там вода течет, – велит ксендз.

Так что теперь они потихоньку поедут вдоль реки под названием Гнилая Липа. Вода укажет путь.

Ксендз садится в коляску и вскоре успокаивается, вытягивает перед собой ноги и позволяет глазам блуждать по морю тумана. Он моментально погружается в свойственные путешественникам раздумья, ведь движение, как ничто другое, способствует размышлениям. Механизм разума медленно, нехотя оживает, шестеренки и передачи волшебным образом приводят в движение ведущие колеса – совсем как в часах, купленных во Львове, что стоят у ксендза в плебании, в сенях; они ему дорого обошлись. Того и гляди прозвучит: бим-бом. А может, и весь мир возник из такого тумана, задумывается ксендз. Еврейский историк Иосиф Флавий утверждает, будто мир был создан осенью, во время осеннего равноденствия. Для подобных предположений есть основания, ведь в раю имелись плоды; раз на дереве висело яблоко, значит, была осень... Что-то в этом есть. Но затем в голову ксендзу приходит другая мысль: разве это аргумент? Неужто в другое время года всемогущий Бог не сумел бы создать какие-то жалкие фрукты?

Добравшись до главной дороги на Рогатин, они вливаются в поток пеших и всадников, а также всякого рода экипажей, появляющихся из тумана, – будто слепленные из хлеба рождественские фигурки. Среда, в Рогатине базарный день, едут крестьянские подводы, груженные мешками с зерном, клетками с птицей и всевозможными плодами крестьянского труда. Между ними бодро шагают торговцы всякой всячиной: лотки, хитроумно сложенные, можно нести на плечах, как коромысло; мгновение – и они превратятся в столы, заваленные разноцветными

тканями, деревянными игрушками, яйцами, скупаемыми по деревням за четверть цены... Крестьяне ведут предназначенных на продажу коз и коров: напуганные шумом, животные упираются, топчутся в лужах. Мимо проносится накрытая дырявой рогожей повозка, полная крикливых евреев, со всей округи стекающихся на рогатинскую ярмарку, а за ними прокладывает себе путь богатая карета, с трудом сохраняющая достоинство в тумане и дорожной толчее: светлые лакированные дверцы черны от грязи, лицо у кучера в синей пелерине несчастное – он не ожидал такого столпотворения и теперь отчаянно ищет возможность куда-нибудь свернуть с этого дьявольского тракта.

Рошко настойчив, не позволяет оттеснить коляску в поле, держится правой обочины и, одним колесом по траве, другим по дороге, упорно продвигается вперед. Вытянутое печальное лицо краснеет, на нем появляется какая-то дьявольская гримаса. Ксендз взглядывает на слугу, и ему вспоминается гравюра, виденная не далее как вчера, – на ней были изображены исчадия ада, а лица их искажали такие же гримасы, как сейчас у Рошко.

– Дорогу пану ксендзу! А ну, прочь! Разойдись! – кричит Рошко.

Перед ними появляются первые здания – внезапно, без предупреждения. Видимо, туман искажает восприятие расстояния: похоже, Каська тоже удивлена. Она вдруг делает рывок, дергает оглоблю, и если бы не мгновенная реакция Рошко и его хлыст, коляска бы опрокинулась. Возможно, Каську напугали искры, сыплющиеся из дверей кузницы, а может, ей передалось беспокойство ожидающих своей очереди лошадей...

Дальше корчма, бедная, убогая, напоминающая деревенскую избу. Словно виселица, возвышается над ней колодезный журавль – вырывается из тумана, и конец его теряется где-то в вышине. Ксендз видит остановившуюся здесь запыленную карету: усталый кучер низко опустил голову, почти уткнувшись носом в колени, с козел не спрыгивает, и из экипажа никто не выходит. Но возле кареты уже стоит высокий худой еврей, а рядом – маленькие девочки с растрепанными волосами. Это все, что успевает увидеть ксендз-декан, потому что туман заглатывает каждую картинку, едва та возникает перед глазами; всё куда-то исчезает, испаряется, точно растаявшая снежинка.

Вот и Рогатин.

Он начинается с мазанок, глиняных хат под стрехами, которые будто придавливают избушки к земле; однако чем ближе рыночная площадь, тем более ладными становятся дома и аккуратными соломенные кровли, которые наконец сменяет гонт на зданиях из необожженного кирпича. Здесь же приходской костел, Доминиканский монастырь, костел Святой Варвары на рыночной площади, а дальше две синагоги и пять церквей. Рыночную площадь обступают, словно грибочки, домики, в каждом какая-нибудь лавка. Портной, прядильщик, скорняк, все – евреи, а рядом пекарь по фамилии Буханка, что неизменно радует ксендза-декана, усматривающего в том тайную гармонию, которая, будь она более наглядна и последовательна, наверняка сподвигла бы людей на более добродетельную жизнь. Рядом мастерская оружейника по прозвищу Люба, фасад богатый, стены недавно выкрашены в голубой цвет, а над входом висит большой ржавый меч: видно, Люба – хороший мастер, а карманы его клиентов не пустуют. Затем шорник: этот поставил перед своей дверью деревянные козлы, а на них положил красивое седло и стремена, наверное посеребренные – очень уж сверкают.

Повсюду чувствуется сладковатый запах солода, он пропитывает каждый выставленный на продажу товар. Им можно наесться, как хлебом. В предместье Рогатина, в Бабинцах, есть несколько небольших пивоварен, оттуда этот сытный аромат разносится по всей округе. Во многих здешних лавках продают пиво, а в магазинах побогаче имеется и водка, и медовуха – как правило, тройная. Склад еврейского купца Вакшуля предлагает вино, настоящее венгерское и настоящее рейнское, да еще то кисловатое, что везут сюда из самой Валахии.

Ксендз идет вдоль лотков; из чего только они не сделаны – из досок, полотнищ рогожи, корзин и даже веток с листьями. Какая-то славная женщина в белом платке продает с тележки

тыквы, их ярко-оранжевый цвет привлекает детей. Рядом другая – расхваливает овечий сыр, разложенный на листьях хрена. За ними еще множество торговков, которые вынуждены заниматься этим делом, поскольку овдовели или мужья у них пьяницы: они продают масло, соль, полотно. Вот пирожница, изделия которой ксендз обычно покупает, и теперь тоже посылает ей приветливую улыбку. Позади нее – два лотка с зелеными ветками, означающими, что здесь торгуют свежесваренным пивом. А вот богатый прилавок армянских торговцев – красивые легкие ткани, ножи в изукрашенных ножнах, тут же сушеная белуга, чей сладковатый запах пропитывает шерстяные турецкие гобелены. Дальше человек в пыльном балахоне продает из висящего на худой шее ящика яйца, что дюжинами сложены в плетенные из сухой травы лукошки. Другой предлагает яйца копами², в больших корзинах, по сходной, почти оптовой цене. Лавка пекаря вся увешана бубликами – один кто-то уронил в грязь, теперь его с аппетитом грызет маленькая собачка.

Здесь торгуют кто чем умеет. В том числе пестрыми тканями, платками и шальями прямиком со стамбульского базара, детской обувью, фруктами, орехами. У мужчины, стоящего возле забора, – плуг и гвозди разных размеров, от крошечных, с булавку, до огромных, какими пользуются при строительстве домов. Рядом дородная женщина в накрахмаленном чепце разложила трещотки для ночных сторожей: маленькие, чей звук напоминает скорее ночное пение сверчков, чем призывы ложиться спать, и большие – эти, напротив, и мертвого разбудят.

Сколько раз евреям запрещали торговать предметами, связанными с Католической церковью. Ругались по этому поводу и ксендзы, и раввины – ничего не помогает. И вот, пожалуй, опять: красивые молитвенники с лентами-закладками, переплеты с изящными – тисненными, посеребренными – буквами; на ощупь они, если провести кончиком пальца, теплые, живые. Опрятный, можно сказать, элегантный мужчина в меховой шапке относится к ним как к реликвиям: завернул в кремовую папиросную бумагу, чтобы этот грязный туманный день не запятнал невинные, христианские, пахнущие типографской краской страницы. Еще он продает восковые свечи и даже изображения святых с нимбами.

Ксендз подходит к одному из бродячих книготорговцев, надеясь отыскать что-нибудь на латыни. Однако книги явно только еврейские: рядом разложены предметы, предназначение которых ксендзу неизвестно.

Чем дальше в переулки, тем бо́льшая проглядывает нищета, точно грязный палец, торчащий из прохудившегося ботинка; нищета суровая, молчаливая, придавленная к земле. Тут уже не магазины, не лавочки, а будки, наподобие собачьих, сколоченные из тонких, собранных по помойкам досок. В одной сапожник ремонтирует обувь, которую не раз зашивали, подбивали, латали. В другой, увешанной железными кастрюлями, сидит лудильщик. Лицо у него худое, щеки впалые, кипа прикрывает лоб, весь в каких-то коричневых пятнах. Ксендз-декан побоялся бы чинить у него кастрюли: еще подхватишь через пальцы этого несчастного какую-нибудь страшную болезнь. Рядом старик точит ножи и всевозможные серпы с косами. Вся его мастерская – каменный круг, висящий на шее. Когда нужно что-нибудь поточить, он устанавливает примитивный деревянный каркас и при помощи нескольких кожаных ремней превращает его в немудреный механизм, чье колесо, вращаемое вручную, лижет металлические лезвия. Иногда из этого механизма летит в грязь несколько настоящих искр, что особенно радует замурзанных, запаршивевших детей. Зарабатывает точильщик гроши. С помощью этого круга можно также утопиться в реке – еще одно преимущество сей профессии.

Женщины в лохмотьях собирают на улице щепу и навоз на растопку. По их тряпкам трудно понять, еврейская это нищета, православная или католическая. Да, нищета не имеет ни веры, ни национальности.

² Шестьдесят штук.

«Si est, ubi est?»³ – спрашивает себя ксендз, думая о рае. Уж точно не здесь, в Рогатине, и вообще – так ему кажется – не на Подолье. И если кто-то думает, что в больших городах лучше, то сильно ошибается. Правда, ксендз никогда не видел ни Варшавы, ни Кракова, однако кое-что слышал, бывая в усадьбах, и от монаха-бернардинца Пикульского, человека более сведущего, чем он.

Рай, или сад наслаждений, Господь перенес в прекрасное и неведомое место. В «Агса Ное»⁴ говорится, что рай располагается где-то в краю армян, высоко в горах, а вот Бруно утверждает, что – sub polo antarctico, в районе Южного полюса. Признаком близости рая являются четыре реки: Гихон, Фисон, Евфрат и Тигр. Есть также авторы, которые, не найдя раю место на земле, размещают его в воздухе, в пятнадцати локтях над горами. Это как раз ксендзу представляется маловероятным. Сами посудите. Что же, те жители земли, которые обитают под раем, видят его снизу? Пятки святых разглядывают?

Однако, с другой стороны, нельзя согласиться с теми, кто пытается насаждать ложные идеи, будто священный текст о рае имеет лишь мистическое значение, то есть его следует понимать в духовном или аллегорическом плане. Ксендз – не только потому, что является ксендзом, но по собственному глубокому убеждению – полагает, что Библию нужно понимать буквально.

Он знает о рае почти все, поскольку не далее как на прошлой неделе закончил главу своего весьма смело задуманного труда, главу, являющуюся компиляцией всех тех книг, что есть у него в Фирлеюве, а их у ксендза сто тридцать. За некоторыми он ездил во Львов и даже в Люблин.

Вот скромный угловой дом – сюда-то он и направляется. Так посоветовал ему ксендз Пикульский. Низкая двустворчатая дверь распахнута настежь; оттуда исходит запах пряностей, выделяющийся на фоне всей этой вони лошадиного навоза и осенней сырости, и еще один резкий аромат, уже знакомый декану: каффа. Ксендз каффу не пьет, но пора бы наконец познакомиться с ней поближе.

Ксендз оглядывается, ищет взглядом Рошко; видит, как тот угрюмо-сосредоточенно перебирает тулупы, а за его спиной простирается рынок, где никому ни до кого нет дела. Никто на ксендза не смотрит, все поглощены ярмаркой. Шум и гам.

Над входом виднеется не слишком умело сделанная вывеска:

ШОР СКЛАД ТОВАРОВ

Дальше еврейские буквы. У двери висит металлическая табличка, а рядом какие-то значки, и ксендз вспоминает, что Афанасий Кирхер⁵ в своей книге утверждает, будто евреи, когда жена должна разрешиться от бремени, пишут, опасаясь колдовства, на стенах своих жилищ: «Адам ве-Хава – хуц Лилит», что означает: «Адам и Ева, придите, а ты, Лилит, то есть ведьма, прочь». Вероятно, это оно и есть. Наверное, здесь недавно родился ребенок.

Священник переступает высокий порог и с головой окунается в теплый, пряный аромат. Глазам требуется время, чтобы привыкнуть к темноте, потому что свет проникает сюда лишь через небольшое окошко, к тому же заставленное цветочными горшками.

За стойкой стоит подросток, у него едва начали пробиваться усы, а пухлые губы, когда мальчик видит ксендза, сперва подрагивают, а потом пытаются выговорить какое-то слово. Он изумлен.

– Как тебя зовут, отрок? – смело спрашивает ксендз, чтобы показать, как уверенно он чувствует себя в этой темной лавке с низким потолком, и побудить мальчика к беседе, но тот

³ Если он существует, то где? (лат.)

⁴ «Ноев ковчег» (лат.).

⁵ Атанасиус (Афанасий) Кирхер (1602–1680) – немецкий ученый-энциклопедист, изобретатель, монах-иезуит, автор многочисленных трактатов по самым разнообразным предметам.

не отвечает. – *Quod tibi nomen est?*⁶ – повторяет он более официально, но латынь, призванная способствовать взаимопониманию, звучит как-то слишком торжественно, будто ксендз пришел сюда изгонять бесов, подобно Христу в Евангелии от Луки, с тем же вопросом обратившемуся к одержимому. Но подросток только шире открывает глаза и твердит «бх, бх», а потом вдруг, задев висящую на гвозде косу чеснока, убегает куда-то за полки.

Отец Хмелёвский оплошал: ну откуда он взял, что здесь говорят на латыни? Ксендз скептически оглядывает себя – из-под пальто видны черные волосяные пуговицы сутаны. Наверное, этого мальчик и испугался, думает он, сутаны. Хмелёвский улыбается себе под нос и вспоминает библейского Иеремию, который тоже чуть не потерял голову и едва смог выговорить: «А-а, Domine Deus ecce nescio loqui!» – «Господи Боже, я не умею говорить!».

С этого момента ксендз мысленно называет мальчика Иеремией. Он не знает, как поступить, – так внезапно тот исчез. А потому застегивает пальто и одновременно рассматривает лавку. Это ксендз Пикульский уговорил его приехать сюда; декан послушался, но теперь уже не уверен, что это была хорошая идея.

С улицы никто не заходит, за что ксендз мысленно благодарит Господа. Вот уж было бы диковинное зрелище: католический священник, рогатинский декан в еврейской лавке дожидается, точно какая-нибудь мещанка, пока его обслужат. Ксендз Пикульский советовал ему поехать во Львов, к раввину Дубсу, он, мол, там бывал и много чего узнал. Ксендз послушался, но старика Дубса, видимо, утомили католические священники, расспрашивающие о книгах. Он был неприятно удивлен просьбой, а того, что особенно интересовало Хмелёвского, у него не оказалось, или он притворился, что не оказалось. Сделал любезное лицо и, причмокивая, покачал головой. А когда ксендз спросил, кто может ему помочь, замахал руками и, оглянувшись, словно за спиной у него кто-то стоял, дал понять, что не знает, а если бы даже и знал, то все равно не сказал бы. Потом ксендз Пикульский объяснил ксендзу-декану, что речь идет о еврейской ереси, а евреи, хоть и хвастаются, что никакой ереси у них нет, для этой, похоже, делают исключение и искренне, не таясь ненавидят.

В конце концов Пикульский рекомендовал ему обратиться к Шору. Большой дом с магазином на рыночной площади. Однако при этом поглядел на ксендза как-то косо, с иронией, а может, тому просто показалось. Возможно, надо было попросить Пикульского раздобыть для него эти еврейские книги? Хоть ксендз-декан Пикульского и недолюбливает. Не пришлось бы теперь позориться и потеть. Но упрямства ксендзу не занимать, так что он поехал сам. Тут был еще один нюанс, тоже нелепый, – небольшая игра слов (кто поверит, что такие детали правят миром?): отец Хмелёвский трудился над фрагментом из Кирхера, где упоминается огромный вол Шоробор. Возможно, именно созвучие слов привело его сюда – Шор и Шоробор. Неисповедимы пути Господни.

Но где же эти знаменитые книги, где эта фигура, внушающая опасливое уважение? Магазин напоминает обычную лавку, а ведь хозяин – якобы потомок знаменитого раввина, почитаемого мудреца Залмана Нафтали Шора. А тут – чеснок, специи, горшки с ароматными травами, банки и баночки, а в них всевозможные пряности – дробленые, молотые или в первозданном виде, как вот эти палочки ванили или гвѳздики гвоздики, шарики мускатного ореха. На полках, на соломе, разложены также рулоны ткани – видимо, шелк и атлас, очень яркие, глаз не отвести. Ксендз задумывается, не нужно ли ему чего-нибудь, но в следующее мгновение замечает неумелую надпись на внушительной темно-зеленой банке: *Herba the*⁷. Вот что надо попросить, когда кто-нибудь наконец к нему выйдет, – немного этой травы, улучшающей настроение, что для ксендза означает возможность трудиться, не чувствуя усталости. К тому же она благоприятно действует на пищеварение. Еще он, пожалуй, купит чуть-чуть гвоздики,

⁶ Как тебя зовут? (лат.)

⁷ Травяной чай (лат.).

чтобы приправлять ею вечерний глентвейн. Последние ночи были такими холодными, что ноги стыли, не давая сосредоточиться на работе. Ксендз оглядывается в поисках какой-нибудь скамьи, а дальше все происходит одновременно. Из-за полка показывается бородатый коренастый мужчина в длинном шерстяном одеянии, из-под которого выглядывают остроносые турецкие туфли. На плечи наброшено легкое темно-синее пальто. Он шурится, словно вылез из колодца. Из-за его спины с любопытством выглядывает Иеремия, которого ксендз давеча напугал, и еще две какие-то физиономии, очень на Иеремию похожие, такие же пытливые и румяные. А напротив, на пороге двери, выходящей на площадь, появляется запыхавшийся худощавый паренек или скорее молодой мужчина – у него уже пробивается светлая козлиная бородка. Он прислоняется к косяку и тяжело дышит – видимо, бежал что было сил. Парень без малейшего смущения сверлит декана глазами и тут же лукаво улыбается, показывая здоровые, редко стоящие зубы. В этой улыбке ксендзу чудится сарказм. Ему больше по душе фигура в пальто, к которой он и обращается, подчеркнуто любезно:

– Прошу великодушно простить мою беспереборность...

Мужчина напряженно смотрит на ксендза, но уже в следующее мгновение выражение его лица начинает медленно меняться. На нем возникает подобие улыбки. Ксендз вдруг догадывается, что тот его не понимает, и начинает снова, на латыни, уверенно, радостно: свои люди.

Еврей медленно переводит взгляд на запыхавшегося юношу в дверях, и тот смело заходит, одергивая куртку из темного сукна.

– Я переведу, – заявляет он с мягким русинским акцентом неожиданно низким голосом и, указывая пальцем на ксендза-декана, взволнованно сообщает, что это настоящий – самый что ни на есть настоящий – ксендз.

Ксендз не подумал, что может понадобиться переводчик, как-то ему это и в голову не пришло. Он смущен и не знает, как выйти из положения: дело, задуманное как конфиденциальное, неожиданно приобретает публичный характер – того и гляди соберется целая толпа зевак. Хмельёвский уже готов выйти отсюда в холодный туман, отдающий лошадиным навозом. Он чувствует себя в западне в этом помещении с низким потолком, воздухом, загустевшим от аромата пряностей, а тут еще с улицы начинают заглядывать любопытствующие.

– У меня дело к уважаемому Элише Шору, если позволите, – говорит он. – Конфиденциальное.

Евреи удивлены. Они обмениваются несколькими фразами. Иеремия исчезает и возвращается лишь спустя несколько минут, заполненных томительным молчанием. Видимо, разрешение получено, и теперь ксендза ведут за полки. Он слышит перешептывания, легкий топот детских ножек, сдавленное хихиканье – словно за тонкими стенами прячется множество людей, которые сквозь щели между досками с любопытством разглядывают рогатинского декана, блуждающего по закоулкам еврейского дома. Выясняется, что магазин на площади – всего лишь передняя часть огромной конструкции, напоминающей пчелиный улей: комнаты, коридорчики, лестницы. Оказывается, дом очень просторный, он окружает внутренний дворик, который ксендз видит мельком, через маленькое окошко в комнате, где они на мгновение останавливаются.

– Я – Грицко, – сообщает на ходу юноша с бородкой. Ксендз понимает, что, пожелай он вернуться, не сумел бы найти выход из этого пчелиного обиталища. При этой мысли его бросает в пот, но тут со скрипом открывается одна из дверей, и на пороге появляется худой мужчина – в расцвете сил, со светлым, гладким, непроницаемым лицом и седой бородой, в платье ниже колен, на ногах шерстяные носки и черные туфли.

– Это и есть рабби Элиша Шор, – шепчет Грицко взволнованно.

Комната маленькая, с низким потолком и очень скромно обставленная. В центре – большой стол, на нем раскрытая книга, а рядом стопками лежат другие; взгляд жадно скользит по

корешкам – отец Хмелёвский пытается прочесть названия. Ему вообще мало что известно о евреях, а этих, рогатинских, он знает только в лицо.

Ксендзу вдруг делается приятно, что оба они невысокого роста. Высокие люди его всегда немного смущают. Мужчины стоят друг напротив друга, и на мгновение у ксендза возникает ощущение, что тот, второй, тоже рад этому сходству. Еврей плавно садится, улыбается и указывает ксендзу на скамейку.

– С вашего позволения и учитывая чрезвычайные обстоятельства, я явился к вам совершенно инкогнито, будучи много наслышан о вашей великой мудрости и эрудиции...

Грицко останавливается на середине фразы и переспрашивает:

– Ин-ко-гнито?

– Ну да, это значит, я предпочел бы избежать огласки.

– Как это? Из-бе-жать? О-гласки?

Ксендз останавливается, он неприятно удивлен. Ну и переводчик ему достался, парень явно плохо его понимает. Как же они станут разговаривать? По-китайски? Надо постараться говорить попроще.

– Прошу сохранить это в тайне, ибо я не скрываю, что являюсь рогатинским деканом, католическим священником. Но прежде всего я – автор. – Чтобы подчеркнуть слово «автор», ксендз поднимает палец. – И я бы хотел, чтобы меня здесь сегодня воспринимали не в качестве священнослужителя, но именно как автора, который настойчиво трудится над одним *opusculum*...

– О-пу-ску-лум? – слышится неуверенный голос Грицко.

– ...небольшим трудом.

– Ага. Простите, ксендз, я польскому не учен, только такому обычному языку, каким люди говорят. Знаю только то, что при лошадях слышал.

– От лошадей? – изумляется ксендз, недовольный неумелым переводчиком.

– Так я при лошадях потому что. Торговля.

Грицко объясняется, помогая себе жестами. Шор смотрит на него темными, непроницаемыми глазами, и ксендзу приходит в голову, что, возможно, перед ним слепец.

– Прочитав несколько сотен авторов от корки до корки, – продолжает Хмелёвский, – иной раз кое-что заимствуя или же извлекая самую суть, я заподозрил, что многие книги упустил из поля зрения и доступ к ним затруднен.

Теперь он делает паузу и ждет, пока заговорит Шор, однако тот лишь кивает с вкрадчивой улыбкой, из которой ничего не следует.

– А так как я слышал, что у вас здесь хорошая библиотека, никоим образом не желая инкомодировать... – И тут же нехотя поправляется: – Беспокоить или затруднять, я осмелился, вопреки обычаю, но во благо ближнего, прийти сюда и...

Ксендз умолкает, потому что дверь внезапно открывается и в комнату с низким потолком без каких-либо объяснений входит женщина. Следом за ней заглядывает кто-то еще, слышен шепот, лица в темноте едва различимы. Хнычет маленький ребенок, недолго, потом вдруг затихает, словно теперь все внимание должно сосредоточиться на этой женщине с непокрытой головой и пышными кудрями: она шагает смело, устремив взгляд куда-то вперед, не глядя на мужчин; несет на подносе кувшин и сухофрукты. На ней широкое платье в цветочек, сверху вышитый фартук. Постукивают каблук остроносых туфель. Невысокая, но фигурка ладная, привлекательная. Сзади семенит маленькая девочка – несет два стакана. Она смотрит на ксендза с таким ужасом, что случайно налетает на идущую впереди женщину и падает. Стаканы катятся по полу – хорошо, что они из толстого стекла. Женщина не обращает внимания на ребенка, зато быстро и дерзко взглядывает на ксендза. Сверкают темные, мрачные глаза, большие и какие-то бездонные, а на невероятно белой коже мгновенно появляется румянец. Ксендз-декан, который не привык иметь дело с молодыми женщинами, удивлен этим внезап-

ным вторжением; он сглатывает слюну. Незнакомка со стуком ставит на стол кувшин, тарелку и поднятые с пола стаканы и, опять глядя прямо перед собой, уходит. Хлопает дверь. Грицко, переводчик, тоже выглядит растерянным. Тем временем Элиша Шор вскакивает, поднимает девочку и сажает к себе на колени, но та вырывается и исчезает вслед за матерью.

Ксендз голову бы дал на отсечение, что все это – явление женщины и ребенка – было устроено только ради того, чтобы они могли взглянуть на него. Еще бы! Католический священник в еврейском доме! Экзотика, вроде саламандры. А что такого? Разве не еврейский врач меня лечит? Разве мази не еврейский аптекарь растирает? А ведь книги – это проблема в некотором роде гигиеническая.

– Книги, – говорит ксендз, указывая пальцем на корешки лежащих на столе фолиантов и эльзевиров⁸. На каждом золотой краской начертаны два значка, которые ксендз принимает за инициалы хозяина; он распознает еврейские буквы:

שייך

Хмелёвский достает свой пропуск к народу Израиля: осторожно кладет перед Шором принесенную с собой книгу. Победно улыбается: это «Turris Babel»⁹ Афанасия Кирхера, великий труд и с точки зрения содержания, и в смысле размеров; ксендз очень рисковал, когда тащил его сюда. Вдруг бы книга упала в эту вонючую рогатинскую грязь... Что, если бы на рынке ее вырвал у него какой-нибудь головорез? Без нее ксендз-декан не был бы тем, кем он является, сделался бы заурядным приходским священником, учителем-иезуитом из шляхетской усадьбы, тщеславным служителем Церкви, оторванным от мира и недоброжелательным к нему.

Он подталкивает книгу поближе к Шору, словно представляет супругу. Осторожно постукивает по деревянному переплету:

– У меня есть и другие. Но Кирхер – лучший. – Ксендз открывает наугад, и они разглядывают Землю, изображенную в виде шара с длинным тонким конусом Вавилонской башни. – Кирхер доказывает, что описанная в Библии Вавилонская башня не могла быть такой высокой, как ее рисуют. Башня, достигающая лунной сферы, нарушила бы космический порядок. Ей потребовалось бы огромное основание, опирающееся на земной шар. Оно заслонило бы солнце, что имело бы катастрофические последствия для всего живого. Людям пришлось бы израсходовать все имеющиеся на Земле запасы древесины и глины...

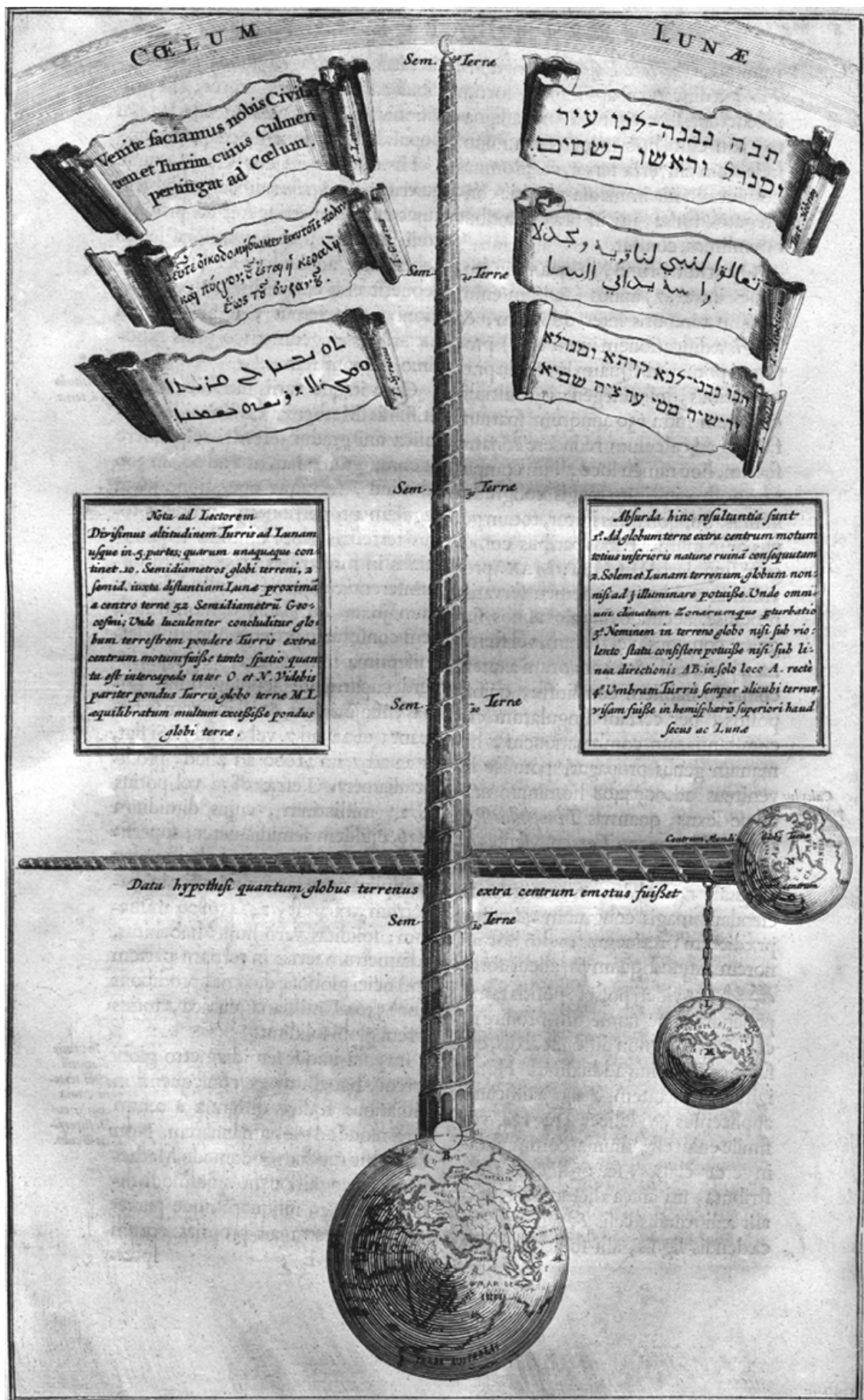
У ксендза такое ощущение, будто он говорит какую-то ересь, в сущности, отец Хмелёвский и сам не знает, зачем сообщает все это хранящему молчание еврею. Хочет, чтобы тот воспринял его как друга, а не как врага. Но возможно ли это? Вдруг можно достичь взаимопонимания, не зная ни языка, ни обычаев, да и самого человека не зная – ни принадлежащих ему вещей и предметов, ни улыбок, ни жестов, движений, которые производят руки; вдруг можно понимать друг друга при помощи книг? Разве это не единственный реальный путь? Читай люди одни и те же книги, они жили бы в одном мире, а так – живут в разных, словно китайцы, упоминаемые Кирхером. Но есть еще и такие, причем их великое множество, кто вообще ничего не читает, ум их дремлет, мысли незатейливы, зверины, как у крестьян с пустыми глазами. Будь он, ксендз, королем – приказал бы крепостным один день предназначить для чтения, всех крестьян усадил бы за книги, и Речь Посполитая моментально преобразилась бы. Может, дело в алфавитах – что их много, а не один, и всякий направляет мысли на свой лад. Алфавиты подобны кирпичам: из одних, обожженных и гладких, получаются соборы, из других, грубо слепленных из глины, – обычные дома. И хотя латинский язык, безусловно, – самый совершен-

⁸ Книги, напечатанные знаменитыми голландскими типографами-издателями Эльзевирями (конец XVI – начало XVIII в.).

⁹ «Вавилонская башня» (лат.).

ный из всех, Шор, похоже, латыни не знает. Ксендз указывает пальцем на гравюру, потом на другую, третью и видит, что раввин со все возрастающим интересом склоняется над книгой, наконец достает очки в аккуратной металлической оправе – ксендз Хмелёвский тоже хотел бы такие, надо спросить, где их можно заказать. И переводчику любопытно: вот они уже вдвоем склоняются над гравюрой.

Ксендз смотрит на раввина и юношу, довольный тем, что поймал обоих на крючок, замечает в темной бороде еврея золотисто-каштановые волосы.



Ris 19. Turris Babel

– Мы могли бы обмениваться книгами, – предлагает он.

Сообщает, что в его библиотеке в Фирлеюве есть еще две книги великого Кирхера, «Агса Ное» и «Mundus subterraneus»¹⁰, они заперты на ключ, ибо слишком ценны, чтобы брать их в руки каждый день. Хмелёвскому известно, что у Кирхера есть и другие труды, но знает он их лишь по упоминаниям. А еще он собрал немало произведений мыслителей прошлого, в том числе – добавляет ксендз, чтобы польстить своим собеседникам, – еврейского историографа Иосифа.

Хмелёвскому наливают из кувшина компота и пододвигают тарелку с сушеным инжиром и финиками. Ксендз благоговейно кладет их в рот, он давно не ел фиников – от неземной сладости настроение сразу поднимается. Он понимает, что пора уже объяснить цель своего прихода – самое время, поэтому проглатывает сладкий плод и переходит к делу; но, еще не закончив, понимает, что поторопился и теперь вряд ли преуспее.

Возможно, он догадывается об этом по внезапной перемене в поведении Грицко. Вообще ксендз бы голову дал на отсечение: юноша что-то добавляет к тому, что переводит. Вот только не известно, предостерегает он Шора или, напротив, помогает ксендзу. Элиша Шор немного отодвигается вместе со стулом, откидывает голову и прикрывает глаза, словно намереваясь посоветоваться с тьмой внутри себя.

Так продолжается до тех пор, пока ксендз не обменивается – непроизвольно – многозначительным взглядом с молодым переводчиком.

– Рабби слушает голоса старейшин, – шепотом говорит юноша, и ксендз понимающе кивает головой, хоть ничего и не понял. Может, у этого еврея действительно есть какой-то магический контакт со всякой чертовщиной, известно же, сколько ее у евреев – все эти ламии да лилит. Сомнения Шора и его прикрытые глаза не оставляют сомнений: не стоило сюда приходить. Ситуация скользкая, специфическая. Как бы себя не скомпрометировать.

Шор встает, отворачивается к стене, опускает голову и мгновение стоит так. Ксендз начинает терять терпение. Что это значит? Пора уходить? Грицко тоже прикрыл глаза, и теперь его длинные юношеские ресницы отбрасывают тень на покрытые мягкой щетиной щеки. Уснули? Ксендз тихонько покашливает, их молчание окончательно лишает его уверенности в себе. Он уже жалеет, что пришел.

Внезапно Шор как ни в чем не бывало подходит к шкафам и открывает один из них. Торжественно вытаскивает толстый фолиант, помеченный теми же буквами, что и прочие книги, и кладет на стол перед ксендзом. Открывает книгу и переворачивает страницу справа налево. Ксендз видит красиво оформленный титульный лист...

– Сефер ха-Зоар¹¹, – благоговейно говорит раввин и убирает книгу обратно в шкаф.

– Кто бы стал это вам читать, отец... – утешающе говорит Грицко.

Ксендз оставляет на столе у Шора два тома своих «Новых Афин» – в надежде на будущий обмен книгами. Постучав по обложкам указательным пальцем, он указывает на себя, тыкая в самый центр груди: я, мол, это написал. Им стоило бы это прочесть, владей они языком. Могли бы узнать о мире много нового. Ксендз ждет реакции Шора, но тот лишь слегка приподнимает брови.

Ксендз Хмелёвский и Грицко вместе выходят на прохладный неласковый воздух. Грицко еще что-то бормочет, а ксендз внимательно разглядывает его: молодое лицо с зачатками будущей щетины и длинными загнутыми ресницами, которые придают юноше немного ребячливый вид, крестьянская одежда.

¹⁰ «Подземный мир» (лат.).

¹¹ Литературный памятник еврейского народа на арамейском языке, мистико-аллегорический комментарий к Пятикнижию Моисея, главный источник каббалистического учения.

– Ты еврей?

– Да нет... – отвечает Грицко, пожимая плечами. – Я здешний, рогатинский, вон из того дома. Вроде православный.

– Откуда же ты знаешь их язык?

Грицко пододвигается поближе, теперь они шагают почти плечом к плечу, юноша явно воодушевлен знакомством. Он говорит, что отец и мать умерли от чумы в 1746 году. Они вели дела с Шором, отец был ремесленником, дубил шкуры, а когда умер, Шор позаботился о Грицко, его бабушке и младшем брате, Олесе, выплатил отцовские долги и стал по-соседски опекать. Вот так они и живут, бок о бок, теперь он больше времени проводит с евреями, чем со своими, и сам не знает, когда выучился понимать их язык и заговорил на нем, как на своем собственном, бегло, что нередко оказывается кстати, когда речь идет о делах, потому что евреи, особенно пожилые, не хотят говорить по-польски и по-русински. Вообще евреи – не такие, как про них говорят, особенно Шоры. Большая семья, теплый, гостеприимный дом, всегда покормят, а если холодно, нальют рюмку водки. Сейчас Грицко осваивает отцовское ремесло, чтобы, как и он, заняться дублением шкур – спрос всегда будет.

– А у тебя нет каких-нибудь родственников-христиан?

– Да есть, но далеко, и до нас им дела нет. О, вот мой брат Олесь. – К ним подбегает мальчик лет восьми, весь в веснушках. – Не тревожьтесь о нас понапрасну, отец, – весело говорит Грицко. – Бог дал человеку глаза спереди, а не сзади, значит, человек должен думать о том, что будет, а не о том, что было.

Ксендз соглашается, что это свидетельствует о божественной мудрости, хоть и не припоминает, чтобы об этом говорилось в Священном Писании.

– Выучи язык, будешь переводить их книги.

– Да нет, куда мне, отец, меня к книгам не тянет. Читать мне скучно. Я бы лучше торговлей занялся, вот это мне по душе. Лошадьми, например. Или как Шоры – водкой и пивом.

– Ох, испортили они тебя... – говорит ксендз.

– А чем водка хуже других товаров? Человеку выпить требуется, потому что жизнь тяжелая.

Он еще что-то болтает, следуя за ксендзом, хотя тот уже и рад бы отделаться от юноши. Бенедикт Хмелёвский останавливается, высматривая на площади Рошко, сначала там, где тулупы, а потом по всему рынку, но людей прибавилось, и, пожалуй, отыскать кучера нет никакой возможности. Поэтому он решает идти к коляске. Но переводчик настолько увлекся своей ролью, что продолжает что-то объяснять, явно довольный, что ему хватает для этого слов. Говорит, что в доме Шоров готовится большая свадьба, потому что сын Элиши (тот, которого ксендз видел в магазине, «Иеремия» – на самом-то деле его зовут Исаак) женится на дочери моравских евреев. Скоро приедет все их семейство и множество родственников из окрестных местечек: из Буска, Подгайцев, Езежан и Копычинцев, а также из Львова, может быть даже из Кракова, хотя год идет к концу – он-то, Грицко, считает, что лучше жениться летом. Еще словоохотливый Грицко замечает, что хорошо бы и ксендз тоже приехал на эту свадьбу, но потом – видимо, представив себе эту картину, – разражается смехом, таким же, как тот, который ксендз давеча принял за издевательский. Хмелёвский дает ему грош.

Грицко смотрит на грош и моментально исчезает. Ксендз стоит, но еще мгновение – и он окунется в ярмарочную толпу, словно в бурную воду, и утонет в ней, следуя за аппетитным запахом пирогов, которыми торгуют где-то совсем рядом.

2

О роковой рессоре и женском недомогании Катажины Коссаковской

В это время Катажина Коссаковская, жена каштеляна каменецкого¹², урожденная Потоцкая, и сопровождавшая ее приятельница, пожилая дама, которые уже несколько дней находились в пути из Люблина в Каменец, как раз въехали в Рогатин. Отставая на час, за ними следуют подводы с сундуками, в них одежда, постельное белье и посуда, чтобы, останавливаясь в чужом доме, иметь свой фарфор и свои столовые приборы. Хотя специально отправленные посыльные заранее уведомляют родственников и друзей в усадьбах, к которым приближаются гости, не всегда удается обеспечить безопасный и удобный ночлег. Тогда приходится прибегать к услугам постоянных дворов и корчем, где кормят иной раз не ахти как. Пани Дружбацкая, женщина в возрасте, едва жива. Жалуется на несварение, вероятно, потому что съеденная пища потом трясется в желудке, точно сливки в маслобойке. Однако изжога не болезнь. Хуже обстоит дело с каштеляншей Коссаковской – со вчерашнего дня у нее болит живот, и теперь она сидит в углу кареты совершенно без сил, холодная, мокрая и такая бледная, что Дружбацкая начинает опасаться за ее жизнь. Поэтому они ищут помощи здесь, в Рогатине, где старостой Шимон Лабенцкий, как и все значимые лица на Подолье, состоящий в родстве с семьей каштелянши.

Сегодня базарный день, и нежно-розовая карета на рессорах, украшенная изящным золотистым орнаментом, с гербом Потоцких на дверцах, с кучером на козлах и стражей в ярких мундирах, вызывает фурор уже на городской заставе. Карета то и дело останавливается, потому что дорогу перегораживают пешеходы и животные. Щелканье кнутом в воздухе мало что дает. Две женщины, укрывшиеся в экипаже, плывут в нем, словно в драгоценной раковине, по бурным водам разноязыкой, разгоряченной ярмарочной толпы.

В конце концов, карета – чего в такой сутолоке и следовало ожидать – наезжает на какую-то оглоблю, и ломается рессора, это удобное новшество, которое теперь только усложняет путешествие, каштелянша падает на пол, а ее лицо кривится от боли. Дружбацкая с проклятиями выскакивает прямо в грязь и пытается что-то предпринять. Сперва обращается к двум женщинам с корзинами, но те убегают, хихикая и переговариваясь на русинском, потом хватает за рукав еврея в шапке и пальто – он пытается ее понять и даже отвечает что-то на своем языке, машет в направлении нижней части города, где река. Тогда потерявшая терпение Дружбацкая перегораживает путь двум симпатичным купцам, которые только что вылезли из коляски и подошли к собравшейся толпе, но это, видимо, армяне, они тут проездом. Мужчины только качают головой. Рядом – турки, которые, как кажется Дружбацкой, глядят на нее с легкой иронией.

– Кто-нибудь тут говорит по-польски?! – кричит она наконец, злясь на обступивших карету зевак и на то место, куда она попала. Вроде бы одно королевство, одна Речь Посполитая, но здесь она какая-то совершенно другая, чем в Великой Польше¹³, откуда Дружбацкая родом. Что-то есть здесь варварское – незнакомые, экзотические лица, нелепая одежда, какие-то обтерханные сермяги, меховые шапки и тюрбаны, босые ноги. Дома сгорбленные, крошечные, глинобитные, даже на рыночной площади. Запах солода и навоза, влажный аромат опавших листьев.

¹² Должность и почетный титул в Речи Посполитой, занимаемая, как правило, представителями знатных княжеских родов.

¹³ Историческая область на западе Польши, в бассейне реки Варты.

Наконец женщина видит перед собой невысокого пожилого ксендза, совершенно седого, в потрепанном пальто, с сумкой через плечо, – опешив, он вытаращенными глазами смотрит на Дружбацкую. Та хватается ксендза за полы пальто и начинает трясти, шипя сквозь зубы:

– Ради Бога, отец, скажите, где тут дом старосты Лабенцкого! И ни слова! Никому!

Ксендз испуганно моргает. Он не понимает: надо говорить или не надо? Может, показать направление рукой? Женщина, которая так беззастенчиво его трясет, небольшого роста, пухленькая, с выразительными глазами и крупным носом; из-под чепчика выбилась прядь кудрявых волос с проседью.

– Это персона значительная и здесь инкогнито, – говорит Дружбацкая ксендзу, указывая на карету.

– Инкогнито, инкогнито, – взволнованно повторяет тот. Извлекает из толпы молодого парня и велит ему проводить экипаж к дому старосты. Юноша более ловко, чем можно было ожидать, помогает распрячь лошадей – иначе не развернуться.

В экипаже с занавешенными окошками стонет каштелянша Коссаковская. За каждым стоном следует крепкое ругательство.

Кровь на шелке

Шимон Лабенцкий, женатый на Пелагии, урожденной Потоцкой, – родственник Катажины Коссаковской, хоть и дальний. Супруги нет дома, она гостит у родни в усадьбе, неподалеку. Взволнованный неожиданным визитом, Лабенцкий поспешно застегивает сюртук французского кроя и поправляет кружевные манжеты.

– *Bienvenu, bienvenu*¹⁴, – твердит он словно в трансе, когда служанки вместе с Дружбацкой ведут каштеляншу наверх, в лучшие покои, которые хозяин предоставил родственнице. Затем, что-то бормоча себе под нос, посылает за рогатинским врачом Рубином.

– *Quelque chose de féminin, quelque chose de féminin*¹⁵, – повторяет он.

Лабенцкий не слишком рад этому внезапному визиту, а точнее – совсем не рад. Он как раз собирался в одно место, где регулярно играет в карты. От одной мысли об игре у него приятно повышается кровяное давление – точно под действием какого-нибудь отборного напитка. Но каких нервов стоит эта зависимость! Утешает лишь то, что за карточным столом можно встретить людей, занимающих более высокое положение, чем он, и побогаче его, и бóльший вес в обществе имеющих. В последнее время Лабенцкий играет с епископом Солтыком¹⁶, поэтому сегодня так разоделся. Он уже собирался выходить, экипаж ждал у крыльца. Теперь об этом придется забыть. Выигрыш достанется кому-нибудь еще. Лабенцкий делает глубокий вдох и потирает руки, словно подбадривая самого себя: ну, ничего не поделаешь, в другой раз.

Больную весь вечер лихорадит, и Дружбацкой кажется, что Катажина бредит. Вместе с Агнешкой, компаньонкой хозяйки, они кладут каштелянше на лоб холодные компрессы, потом срочно вызванный врач прописывает травы, и теперь их запах – что-то анисово-лакричное – окутывает простыни сладким облаком, и больная засыпает. Рубин велит класть холодные компрессы на живот и на голову. Дом затихает, свечи гаснут.

Что ж, не в первый раз ежемесячный недуг так докучает каштелянше и, скорее всего, не в последний. Трудно кого-либо винить, причина, вероятно, в том, что барышни воспитываются в усадьбах – в духоте, никак не упражняя тело. Девушки сидят, согнувшись, над пальцами, стóлы для ксендзов вышивают. Пища тяжелая, мясная. Мышцы слабые. Коссаковская к тому же любит путешествовать, целыми днями в карете, постоянный шум и тряска. Нервы и веч-

¹⁴ Добро пожаловать, добро пожаловать (*фр.*).

¹⁵ Женские дела (*фр.*).

¹⁶ Каetan Игнаций Солтык (1715–1788) – крупный польский церковный и государственный деятель, епископ Киевский и Краковский.

ные интриги. Политика... ведь Катажина не кто-нибудь, а посланница Клеменса Браницкого¹⁷; это его карты она разыгрывает. И весьма успешно, Катажина обладает мужской душой – так, по крайней мере, говорят, с ней считаются. Но Дружбацкая не замечает ничего «мужского». Обычная баба-командирша. Высокая, уверенная в себе, и голос зычный. А еще рассказывают, будто муж Коссаковской, худосочный и невзрачный, – импотент. Делая предложение, он якобы взобрался на мешок с деньгами, чтобы компенсировать недостаток роста.

Даже если Господь лишил Коссаковскую возможности иметь детей, она вовсе не выглядит несчастной. Злые языки болтают, что во время ссор с мужем рассерженная Катажина хватает его и водружает на каминную полку: слезть сам он боится и вынужден выслушивать супругу до конца. Но отчего такая видная женщина выбрала себе в мужа такого коротышку? Разве что в интересах рода, а интересы рода блюдут посредством политики.

Вдвоем с Агнешкой они раздевают больную, и с каждым снятым предметом одежды каштелянша Коссаковская все больше превращается в женщину по имени Катажина, а после даже и Касю – когда она со стоном и плачем падает в их объятия. Врач велел положить ей между ног чистую полотняную повязку и давать много пить, даже насильно, особенно отвар какой-то коры. И такой худой показалась эта женщина Дружбацкой, а из-за худобы и молоденькой, хотя ведь Катажине уже лет тридцать.

Когда больная уснула, они с Агнешкой занялись одеждой: всё в огромных кровавых пятнах – от нижнего белья, нижних юбок и платья до темно-синего пальто. «Сколько ж я пятен крови повидала за свою жизнь», – думает Дружбацкая.

Красивое платье у каштелянши: плотный атлас, по кремовому фону редкие красные цветочки, колокольчики с двумя зелеными листочками, один слева, другой справа. Узор радостный и легкий, очень идет к чуть смуглой коже хозяйки и ее темным волосам. Теперь эти веселые цветочки залиты зловещей кровавой волной. Неровные контуры поглотили и разрушили всю гармонию. Как будто поднялись откуда-то на поверхность враждебные силы.

В усадьбах специально этому учат – как удалять пятна крови. Испокон века обучают будущих жен и матерей. Это стало бы главным предметом в женском университете, будь такой когда-либо создан. Роды, менструация, война, схватка, нападение, грабеж, погром – вот о чем напоминает нам кровь, постоянно присутствующая под самой поверхностью кожи. Как обходиться с этим внутренним, что осмелилось выплеснуться наружу, каким щелоком смыть, в каком уксусе ополоснуть? Может, смочить ткань небольшим количеством слез и аккуратно потереть? Или как следует посплунуть? Простыни, пододеяльники, нижнее белье, юбки, сорочки, фартуки, чепчики и платки, кружевные манжеты и жабо, сюртуки и корсеты. Ковры, доски пола, бинты, повязки, простыни, мундиры.

После ухода врача обе женщины, Дружбацкая и Агнешка, засыпают – одна, то ли присев на постель, то ли опустившись возле нее на колени, подперев голову рукой, след которой останется на щеке до самого вечера, другая – в кресле, склонив голову на грудь; нежное кружево, обрамляющее вырез платья, колыхнется от дыхания, словно актинии в теплом море.

Белый конец стола в доме старосты Лабенцкого

Дом старосты напоминает замок. Каменный, замшелый, он был выстроен на старом фундаменте, отсюда сырость. Огромный каштан во дворе уже роняет блестящие плоды, а вслед за ними летят желтые листья. Такое впечатление, будто двор застелен красивым золотисто-оранжевым ковром. Из большой передней вход в гостиные, которые практически пусты, зато выкра-

¹⁷ Ян Клеменс Браницкий (1689–1771) – последний и наиболее значительный представитель польского дворянского рода Браницких, гетман великий коронный; в царствование Августа III стал во главе так называемой «народной», а впоследствии «гетманской» партии, которая при поддержке могущественных родов Радзивиллов и Потоцких боролась со стремившимися достигнуть власти путем реформ Чарторыйскими.

шены в светлые цвета, а стены и потолок украшены орнаментами. Дубовый паркет натерт до блеска. В доме готовятся к зиме: в сенях стоят корзины с яблоками, которые потом перенесут в зимние комнаты, там они будут благоухать в ожидании Рождества. Во дворе сутолока и переполох – крестьяне привезли дрова и укладывают их в поленицы. Женщины несут корзины с орехами, Дружбацкая не устает изумляться их размерам. Она расколола один и с аппетитом ест сочную мягкую мякоть, исследует языком горьковатую скорлупу. Из кухни пахнет кипящим повидлом.

Внизу Дружбацкая встречает врача, тот что-то бормочет себе под нос и поднимается наверх. Она уже знает, что этот «мрачный, словно Юпитер», как выражается староста, еврей, врач, получивший образование в Италии, молчаливый и словно бы отсутствующий, пользуется большим уважением Лабенцкого, который провел во Франции достаточно времени, чтобы избавиться от ряда предрассудков.

Уже на следующий день в полдень Коссаковская поела немного бульона, затем приказала подложить ей под спину подушки и подать бумагу, перо и чернила.

Катажина Коссаковская, урожденная Потоцкая, жена каштеляна каменецкого, владелица множества деревень и местечек, усадеб и поместий, относится к отряду хищников. Эти, даже если попадут в беду, в капкан браконьера, залижут раны и возобновят схватку. У Коссаковской животный инстинкт – как у волчицы из стаи. Ничего с ней не случится. Дружбацкая пускай лучше за себя беспокоится. Пускай подумает, что она сама за существо... Кормится при этих хищниках, составляя им компанию, развлекает всякой чепухой. Ручная трясогузка, птичка, красиво исполняющая свои трели, но ее подхватит и унесет любой ветер, сквозняк от распахнутого бурей окна.

Ксендз появляется сразу после обеда, немного раньше, чем следует, все в том же пальто и с сумкой, которая больше подошла бы бродячему торговцу, чем священнослужителю. Дружбацкая приветствует его на пороге.

– Я хочу извиниться перед вами, отец, за свою вчерашнюю несдержанность. Кажется, я оторвала вам пуговицы... – говорит она и под руку ведет декана в гостиную, не зная, чем его занять. На стол подадут часа через два.

– Ну, это был такой момент *simpliciter*¹⁸... *Nolens volens*¹⁹ я внес свой вклад в спасение здоровья пани каштелянши.

Дружбацкая уже немного привыкла к разнообразию польской усадебной речи, так что латынь ее только развлекает. Полжизни она провела в качестве компаньонки и секретарши. Потом вышла замуж, родила дочерей, а теперь, после смерти мужа и рождения внуков, старается жить самостоятельно или при дочерях, при пани Коссаковской, а то – снова компаньонкой. Рада опять оказаться в магнатской усадьбе, где столько всего происходит, а по вечерам читают стихи. В сундуке у нее хранится несколько томиков, но Дружбацкая стесняется их показывать. Она помалкивает. Больше слушает, благо ксендз разговорился, и, несмотря на всю эту латынь, они моментально находят общий язык; оказывается, отец Хмелёвский недавно посетил поместье Дзедушицких в Цецоловцах и теперь пытается воссоздать у себя в плебании то, что сумел запомнить. Обрадованный и развеселившийся после ликера, которого выпил уже три рюмки, довольный, что обрел слушательницу, ксендз рассказывает.

Вчера послали за каштеляном Коссаковским в Каменец, и теперь его ждут с минуты на минуту. Скорее всего, он прибудет к утру, а может, еще ночью.

За столом сидят домочадцы и гости, постоянные и временные. Менее важные персоны – на том конце, на который не хватило белизны скатертей. Среди постоянных гостей – дядя хозяина по материнской или отцовской линии, пожилой мужчина, несколько тучный, посапываю-

¹⁸ Просто (лат.).

¹⁹ Невольно (лат.).

щий и ко всем и каждому обращающийся «батюшка» или «матушка». Здесь же управляющий поместьями, застенчивый усатый мужчина, коренастый, а еще бывший учитель Закона Божия детей Лабенцких, прекрасно образованный бернардинец Гауденций Пикульский. Его вниманием моментально завладевает ксендз Хмелёвский – он уводит Пикульского в угол, чтобы продемонстрировать еврейскую книгу.

– Мы обменялись, я ему дал свои «Новые Афины», а он мне Зоар, – гордо говорит ксендз Хмелёвский и достает из сумки том. – У меня просьба, – добавляет он, стараясь, чтобы это звучало словно бы безлично, – при наличии времени пересказать мне что-нибудь из этого труда...

Пикульский рассматривает книгу, открывает ее с конца и, шевеля губами, читает.

– Никакой это не Зоар, – говорит он.

– Как? – ксендз Хмелёвский растерян.

– Да Шор вам какие-то еврейские сказки подсунил. – Он водит пальцем по рядам непонятных значков справа налево. – «Око Иакова». Так это называется, всякие истории для простолудинов.

– Ай да старик Шор... – ксендз качает головой, разочарованный. – Наверное, ошибся. Что ж, думаю, и здесь найдутся какие-нибудь премудрости. Вот бы кто-нибудь мне перевел...

Староста Лабенцкий подает знак, и двое слуг вносят подносы с ликером и маленькие рюмки, а также тарелку с тонко нарезанными хлебными корками. Желаящие могут таким образом подогреть аппетит, потому что обед, который подадут позже, будет обильным и тяжелым. Сначала суп, затем мясо: неровно порезанные куски вареной говядины, ростбиф, дичь и курица; на гарнир – отварная морковь, капуста с грудинкой и миска с кашей, хорошенько заправленной маслом.

За столом ксендз Пикульский наклоняется к ксендзу Бенедикту и говорит вполголоса:

– Заходите ко мне, у меня и еврейские книги в переводе на латынь есть, и с языком я могу помочь. Зачем же сразу к евреям?

– Так ты мне, сынок, сам посоветовал, – с некоторым раздражением отвечает ксендз Бенедикт.

– Да я пошутил. Не думал, что вы и вправду туда пойдете.

Дружбацкая себя ограничивает: с говядиной ее зубы справляются плохо, а зубочисток что-то не видно. Ковыряет курицу с рисом и искоса разглядывает двух молодых слуг, видимо еще непривычных к новой работе, потому что они переглядываются через стол, корчат рожи и дурачатся, полагая, что занятые едой гости не обратят внимания.

Коссаковская еще слаба, но ее кровать стоит в углу комнаты; она приказывает принести свечи, подать немного риса и куриного мяса. И тут же просит венгерского вина.

– Стало быть, худшее позади, раз ты к вину тянешься, – с едва заметной иронией говорит Лабенцкий. Он все еще раздражен, что сорвалась игра в карты. – *Vous permettez?*²⁰ – Он встает и с несколько демонстративным поклоном наливает каштелянше вина. – Твое здоровье.

– А я должна выпить за здоровье этого лекаря, он меня своей микстурой на ноги поставил, – говорит Коссаковская и делает большой глоток.

– *C'est un homme rare*²¹, – говорит хозяйин. – Хорошо образованный еврей, хотя от подагры меня вылечить не может. Учился в Италии. Говорят, с помощью иглы умеет удалять катаракту и таким образом восстанавливает зрение – одна местная шляхтянка теперь вышивает мельчайшими стежками.

Коссаковская снова подает голос из своего угла. Она уже поела и лежит, откинувшись на подушки, немного бледная. Лицо, освещаемое трепещущим светом свечей, будто бы кривится в гримасе.

²⁰ Вы позволите? (*фр.*)

²¹ Это исключительный человек (*фр.*).

– Сейчас повсюду полно евреев, обернуться не успеете, как они нас с потрохами сожрут, – замечает она. – Господам лень трудиться и заботиться о собственных поместьях, так они их евреям в аренду отдают, а сами прожигают жизнь в столице. Вот я смотрю, один еврей мостовое мыто собирает, другой – имением управляет, третий – обувь и одежду шьет, все под себя подмяли.

Во время обеда речь заходит о методах хозяйствования, которые здесь, на Подолье, всегда были отсталыми, а ведь земля богатейшая. Край мог бы процветать. Поташ, селитра, мед. Воск, жир, холсты. Табак, шкуры, крупный рогатый скот, лошади, масса всего – а торговли никакой. «Почему?» – спрашивает Лабенцкий. Потому что Днестр мелкий, множество порогов, дороги плохие, после весенней оттепели практически непроезжие. Какая торговля, если банды турков безнаказанно пересекают границу и грабят путешественников, так что приходится передвигаться с вооруженными проводниками, стражу нанимать.

– У кого есть на это деньги? – сокрушается Лабенцкий и мечтает, чтобы было как в других странах, чтобы торговля процветала, а благосостояние росло. Как во Франции, а ведь земля там не лучше и реки такие же. Коссаковская утверждает, что виноваты господа, которые платят крестьянам водкой, а не деньгами.

– А вы, моя дорогая, знаете, что как раз крестьяне Потоцких заняты их хозяйством столько дней в году, что на себя могут работать только по субботам и воскресеньям?

– У нас выходной еще и пятница, – отрезает Коссаковская. – А работают они плохо. Половину урожая отдают работникам за сбор второй половины, но и эти щедрые дары небес не используют. У моего брата по сей день стоят огромные стога, все зачервивело и не продашь.

– Того, кто придумал превращать зерно в водку, следовало бы озолотить, – говорит Лабенцкий и, вынимая салфетку из-за ворота, дает понять, что пора по доброй традиции перейти в библиотеку выкурить трубку. – Теперь телеги галлонами везут водку на другой берег Днестра. Коран, правда, запрещает пить вино, но о водке там ничего не сказано. Впрочем, неподалеку земли одного молдаванина, и там христиане могут вволю наслаждаться этим напитком... – Он смеется, обнажая желтые от табака зубы.

Староста Лабенцкий – человек непростой. В библиотеке на почетном месте стоит его книга: «Наставления юношам Его милости господина дель Шетарди Кавалера войска и при французском королевском дворе немалые заслуги имеющего, здесь коротко изложенные, в которых юноша задает вопросы и получает ответы. Школам Львовским Vale²² от достопочтенного господина Шимона Лабенцкого, рогатинского старосты, на память своим коллегам оставленные и в печать отданные».

Когда Дружбацкая со всей любезностью расспрашивает, о чем же книга, становится ясно, что это хронология наиболее значительных баталий и, как выясняется после длинной речи Лабенцкого, скорее перевод, нежели оригинальное произведение, принадлежащее его перу. Что из заглавия вовсе не следует.

Затем в курительной все – и дамы в том числе, поскольку обе страстные курильщицы, – слушают рассказ о том, как староста Лабенцкий произносил торжественную речь на открытии библиотеки Залуских²³.

Когда зовут старосту, потому что приехал врач, чтобы провести необходимые процедуры, разговор заходит о Дружбацкой, и Коссаковская напоминает, что она – поэтесса, в связи с чем ксендз-декан Хмелёвский весьма любезно выражает свое удивление, но жадно протягивает руку за книгой. Печатный текст вызывает у него немедленную реакцию, которую трудно контролировать, – схватить и не выпускать из рук, пока глаза не ознакомятся, хотя бы поверх-

²² Привет (*лат.*).

²³ Первая общедоступная библиотека в Речи Посполитой и одна из первых в Европе; занимала здание дворца Даниловичей в Варшаве; с 1774 г. – одна из первых в мире национальных библиотек; после разделов Речи Посполитой была распределена между другими собраниями.

ностно, с содержанием. Так происходит и теперь, отец Хмелёвский открывает книгу и подносит поближе к свету, чтобы рассмотреть титульный лист.

– Рифмы, – разочарованно замечает он и тут же, спеша загладить неловкость, почтительно кивает. «Собрание ритмов духовных, панегирических, моральных и светских». Стихов ксендз не любит – не понимает, но ценность книги в его глазах возрастает, когда он видит фамилию издателей: братья Залуские.

Из-за неплотно прикрытой двери доносится голос старосты, неожиданно смиренный:

– Ашер, золотой мой, эта хворь отравляет мне жизнь, палец болит, сделайте же что-нибудь, голубчик.

И тут же раздаётся другой голос, низкий, с еврейским акцентом:

– Я откажусь от лечения вашей милости. Вам не следовало пить вино и есть мясо, особенно красное, и раз вы не слушаете врача, то болит и будет болеть. Насильно я вас лечить не стану.

– Ну, не обижайтесь, это ж не ваши пальцы, а мои... Ох уж эти чертовы лекари... – Голос стихает, видимо эти двое исчезают где-то в глубине дома.

3

Об Ашере Рубине и его мрачных мыслях

Ашер Рубин выходит из дома старосты и направляется в сторону рыночной площади. Небо к вечеру прояснилось, и сейчас сияют миллионы звезд, однако свет их холодный и приносит на землю – сюда, в Рогатин, – заморозки, первые этой осенью. Рубин поплотнее закутывается в свое черное шерстяное пальто – высокий и худой, теперь он напоминает вертикальную черту. В городе тихо и зябко. Кое-где в окнах появляются тусклые огоньки, но они едва заметны, кажутся призрачными, их легко принять за след, оставленный на радужке глаза солнцем, – теперь эта память о более ясных днях всплывает, захватывая все предметы, на которые падает взгляд. Рубина очень интересует то, что человек видит с закрытыми глазами, ему хотелось бы знать, откуда берется эта картинка. В результате загрязнения глазного яблока? А может, глаз представляет собой что-то вроде *laterna magica*²⁴, которую Ашер видел в Италии?

Мысль о том, что все наблюдаемое им в настоящий момент: тьма с яркими брызгами звезд над Рогатином, очертания маленьких, покосившихся домов, силуэт замка и неподалеку островерхая колокольня костела, подобные привидениям размытые пятнышки огней, наискось, словно в знак протеста, взмывший в небо «журавль» колодца, а может, и то, что он слышит – шум воды где-то внизу и едва различимый шорох обожженной морозом листвы, – все это порождено его разумом, эта мысль возбуждает его и приводит в трепет. А что, если это – плод нашего воображения? Что, если все видят по-разному? В самом ли деле зеленый цвет всеми воспринимается одинаково? А может, это просто слово – «зеленый», которым мы, будто краской, покрываем совершенно различный опыт и, таким образом, общаемся друг с другом, хотя в действительности каждый видит свое? Есть ли способ проверить это? А что бы было, открой мы глаза по-настоящему? И каким-то чудом – разгляди ту реальность, которая нас окружает? Какой бы она оказалась?

У Ашера часто появляются подобные мысли, и в такие мгновения его охватывает страх.

Начинают лаять собаки, слышатся раздраженные мужские голоса, крики – это, наверное, у трактира на рыночной площади. Врача окружают еврейские дома, справа от него – темные очертания большой синагоги. Снизу, с реки, пахнет сыростью. Рыночная площадь – граница между двумя группами рогатинских евреев; они находятся в ссоре, враждуют.

«Кого они ждут?» – думает Ашер. Кто должен прийти и спасти мир?

И те и другие. Те, что верны Талмуду, скучившиеся, точно в осажденной крепости, в нескольких рогатинских домах, – и еретики, вероотступники, к которым Рубин в глубине души испытывает еще большее отвращение, погрязшие в мистических рассказах, суеверные и примитивные, обвешанные амулетами, усмехающиеся хитро и загадочно – вроде старого Шора. Эти верят в Мессию скорбного, падшего, ибо только от низшего можно подняться к высшему. Верят в Мессию-голодранца, который уже приходил около ста лет назад. Мир уже был спасен, хоть на первый взгляд это и незаметно, а те, кто об этом знает, ссылаются на Исаию. Они не признают Шаббат и прелюбодействуют – одни не понимают, что такое грех, другие считают его вещью столь обыденной, что и задумываться о ней не стоит. Их дома в верхней части рыночной площади стоят так тесно один к другому, что кажется, будто фасады сливаются, образуя некое единство, кордон – солидарный и мощный.

Туда-то и направляется Ашер.

²⁴ Изобретенный в XVII в. аппарат для проекции изображений.

Хотя и рогатинский раввин, жадный деспот, вечно занятый какими-то мелкими, абсурдными делишками, часто вызывает его на свою сторону. К Ашеру раввин вроде относится без особого почтения – доктор редко ходит в синагогу, одевается не по-еврейски, а так, серединка на половинку, в черное: скромный сюртук да старая итальянская шляпа, по которой его сразу узнают в городе. В доме раввина есть больной мальчик, с вывернутыми ножками, и Ашер тут бессилен. На самом деле он желает ему смерти, чтобы эти детские, никакой виной не оправданные страдания поскорее закончились. Только из-за этого мальчика Рубин немного сочувствует раввину – человеку тщеславному и малодушному.

Он уверен, что раввин бы предпочел, чтобы Мессия оказался царем, въезжающим в Иерусалим на белом коне, в золотых доспехах, возможно с целым войском, с воинами, которые придут к власти вместе с ним и окончательно наведут в мире порядок. Чтобы Мессия был похож на какого-нибудь знаменитого генерала. Он отнимет власть у хозяев этого мира, все народы сдадутся ему без боя, короли станут платить дань, и на реке Самбатиион он встретит десять потерянных колен Израилевых. Иерусалимский храм спустится с небес, и в тот же день воскреснут те, кто похоронен в Земле Израиля. Ашер улыбается себе под нос, вспоминая, что те, кто умер за пределами Святой земли, воскреснут лишь спустя четыреста лет. Ребенком он в это верил, хотя считал чудовищно несправедливым.

И те и другие обвиняют друг друга в величайших грехах и ведут друг с другом партизанскую войну. И те и другие жалки, думает Рубин. На самом деле он мизантроп – даже странно, что сделался врачом. В сущности, люди его раздражают и разочаровывают.

Что касается грехов, он знает о них больше, чем кто-либо другой. Ибо грехи записываются на человеческом теле, словно на пергаменте. Этот пергамент у разных людей мало чем отличается, да и грехи поразительно схожи.

Пчелиный улей, или Дом и семейство рогатинских Шоров

В доме Шоров на рыночной площади и в нескольких других – поскольку род Шоров большой и разветвленный – готовятся к свадьбе. Женится один из сыновей.

У Элиши их пятеро, есть еще дочь, самая старшая из детей. Первый – Соломон, ему уже тридцать, он похож на отца, мудрый и молчаливый. На Соломона можно положиться, так что он пользуется большим уважением. Его жена, которую называют Хайкеле, чтобы не путать с Хасей-большой, сестрой Соломона, как раз ждет очередного ребенка. Она родом из Валахии, ее красота бросается в глаза даже сейчас, во время беременности. Хайкеле сочиняет веселые песенки и сама их поет. Еще она пишет рассказы для женщин. Натан, двадцати восьми лет, с открытым добрым лицом, искусно ведет торговлю с турками, постоянно в разъездах; удачлив в делах, правда, мало кто знает, каких именно. Он редко бывает в Рогатине, но на свадьбу приехал. Его жена, богатая и элегантная дама, родом из Литвы и взирает на рогатинскую родню свысока. У нее густые волосы, убранные в высокую прическу, и облегающее платье. Экипаж, что стоит во дворе, принадлежит Натану и его супруге. Следующий – Иегуда, живой и остроумный. С ним бывают проблемы, потому что он не всегда в состоянии обуздать свой порывистый нрав. Иегуда одевается на польский манер и носит саблю. Братья прозвали его Казак. Он ведет дела в Каменце – снабжает крепость продовольствием, что приносит неплохой доход. Жена недавно умерла в родах, младенец тоже не выжил; от этого брака осталось двое маленьких детей. Иегуда уже явно ищет новую партию, и свадебные торжества будут очень кстати. Ему нравится старшая дочь Моше из Подгайцев, ей сейчас четырнадцать, самый подходящий возраст для замужества. Моше – человек почтенный, чрезвычайно образованный; он занимается каббалой, знает наизусть всю Книгу Зоар и умеет, по его собственному выражению, «проникнуть в тайну». Откровенно говоря, для Иегуды важнее красота и ум девушки, которую

отец-каббалист нарек Малкой – Царицей. Младшему из сыновей Шора, Вольфу, семь лет. Его круглая, радостная, покрытая веснушками физиономия всегда маячит рядом с отцом.

Жених – тот самый Исаак, которого ксендз Хмелёвский прозвал Иеремией. Ему шестнадцать, он высок и неуклюж, а больше пока ничем особо не выделяется. Будущая жена Исаака Фрейна родом из Лянцкороны – она родственница Хирша, лянцкоронского раввина, мужа дочери Элиши Шора Хаи. Все здесь, в этом невысоком, но просторном доме, родня, связаны кровным родством, свойством, коммерческими интересами, взятыми займы суммами, одалживаемыми друг другу телегами.

Ашер Рубин частенько здесь бывает. Его вызывают к детям, а еще к Хае. Болезни у нее всегда очень загадочные, помогают от них только разговоры. На самом деле Ашеру нравится навещать Хаю. Это единственное занятие, о котором он может так сказать. Обычно Хая настаивает на том, чтобы его позвать, потому что в доме Шоров никто ни в какую медицину не верит. Они с Хаей поболтают – и недуг отступит. Иногда Рубину приходит в голову, что Хая напоминает тритона, меняющего цвет, чтобы избежать опасности или выдать себя за кого-то другого. Вот и у Хаи – то сыпь, то вдруг она не может вздохнуть полной грудью, то кровь из носа пойдет. Все считают, что это из-за духов, диббуков, демонов или балакабен, хромых существ из подземного мира, охраняющих сокровища. Ее болезнь всегда является знамением и предшествует пророчеству. Тогда Ашера отсылают. В нем больше нет нужды.

Ашера забавляет, что у Шоров мужчины ведут дела, а женщины пророчествуют. Каждая вторая – пророчица. Подумать только: сегодня он прочитал в своей берлинской газете, что в далекой Америке доказано: молния – явление электрическое и от Божьего гнева можно защититься при помощи обыкновенной проволоки.

Однако сюда такого рода информация не доходит.

Сейчас, после свадьбы, Хая переехала к мужу, но часто здесь бывает. Ее выдали замуж за раввина из Лянцкороны, своего человека, друга отца, намного старше Хаи, и у них уже двое детей. Отец и зять похожи как две капли воды: бородатые, седые, с впалыми щеками, в которых лежит тень комнаты с низким потолком, где они обычно проводят время. Эту тень они носят с собой повсюду.

Хая, когда гадает, впадает в транс – и тогда переставляет на собственноручно расписанной доске маленькие фигурки из хлеба или глины. А после – вещает. В этот момент требуется отец, который приближает ухо к губам дочери так близко, что кажется, будто та его облизывает, и, закрыв глаза, слушает. Затем переводит услышанное с языка духов на человеческий. Многое сбывается, но многое и не сбывается. Ашер Рубин не знает, как это объяснить, и не знает, что это за болезнь. От этого незнания ему не по себе, и Ашер старается о нем не думать. А они называют такое гадание иббур: это означает, что Хаю посещает добрый святой дух и делится знаниями, которые обычно людям недоступны. Иногда Ашер просто делает ей кровопускание; при этом он старается не смотреть Хае в глаза. Рубин убежден, что эта процедура очищает, давление в венах понижается и кровь не ударяет в мозг. К Хае в семье прислушиваются не меньше, чем к отцу.

Но сейчас Ашера Рубина вызвали к умирающей старухе, которая приехала на свадьбу. В пути она настолько ослабела, что совсем слегла; Шоры опасаются, что гостья умрет в день свадьбы. Так что Хаю Ашер сегодня вряд ли увидит.

Он входит в грязный темный двор, где висят вниз головой свежезабитые гуси, которых откармливали все лето. Минует узкие сени – здесь пахнет жареными котлетами и луком и слышно, как где-то толкут в ступке перец. Женщины галдят на кухне, из которой в холодный воздух поднимается теплый пар готовящихся блюд, а вместе с ним – ароматы уксуса, мускатного ореха, лаврового листа, а еще запах свежего мяса, сладковатый и тошнотворный. От всего этого осенний воздух кажется еще более прохладным и неуютным.

За деревянной стеной довольно возбужденно разговаривают мужчины – видимо, спорят; слышны голоса, пахнет воском и отсыревшей одеждой. Сегодня их здесь множество, в доме полно народу.

Мимо Ашера проходят дети; взволнованные приближающимся праздником малыши не обращают на него внимания. Рубин пересекает второй двор, тускло освещенный одним факелом, там стоят лошадь и телега. Кто-то – Рубин не видит кто – впотымах разгружает телегу и относит мешки в кладовую. Спустя мгновение Ашер различает его лицо и невольно вздрагивает: это тот беглец, крестьянин, которого спас зимой старший Шор – засыпанного снегом, полумертвого, с обмороженным лицом.

На пороге Рубин сталкивается с подвыпившим Иегудой, которого вся семья зовет Лейбе. Впрочем, и его самого тоже зовут не Рубин, а Ашер бен-Леви. Но сейчас, в потемках и сутолоке, имена кажутся чем-то текучим, изменчивым и второстепенным. В конце концов, никому не суждено носить их слишком долго. Не говоря ни слова, Иегуда ведет Рубина в глубь дома и открывает дверь в маленькую комнату, где молодые женщины чем-то заняты, а на кровати у печки лежит, откинувшись на подушки, женщина старая и иссохшая. Первые шумно приветствуют Ашера и с любопытством обступают постель: хотят увидеть, как доктор будет осматривать Енту.

Она маленькая и тощая, точно старая курица, тело хрупкое. Выпуклая – птичья – грудная клетка поднимается и опускается быстро, как у ребенка. Полуоткрытый рот, обтянутый тонкими губами, провалился. Однако темные глаза внимательно следят за движениями врача. Когда, разогнав любопытствующих, Рубин приподнимает покрывало, то видит целиком ее фигуру, совсем детскую, и костлявые руки со множеством веревочек и ремешков. Ента по самую шею закутана в волчий шкуры. Шоры верят, что волчий мех согревает и восстанавливает силы.

«Зачем они потащили с собой эту старушку, жизни в которой осталось всего ничего?» – думает Ашер. Она напоминает старый увядший гриб с коричневым морщинистым лицом, и пламя свечей обрисовывает линии тела еще более откровенно и безжалостно, так что постепенно Ента перестает быть похожа на человека. Ашеру кажется, что она вот-вот сделается неотличима от творений природы – древесной коры, шершавого камня и суковатой доски.

Видно, что уход за старухой хороший. В конце концов, как сказал Ашеру Элиша Шор, отец Енты и дед Элиши Шора, Залман Нафтали Шор, тот самый, что написал знаменитый труд «Тевуат Шор», были братьями. Ничего удивительного, что и она приехала на свадьбу к родственникам, ведь обещали быть двоюродные братья из Моравии и далекого Люблина. Ашер опускается у низкой постели на корточки и тут же чувствует запах соленого пота и – он на мгновение задумывается в поисках подходящего определения – ребенка. В возрасте Енты люди начинают пахнуть так же, как младенцы. Рубин знает, что эта женщина не больна, она просто умирает. Он тщательно осматривает ее и не обнаруживает ничего, кроме старости. Сердце бьется неровно и слабо, словно бы утомленно, кожа чистая, но тонкая и сухая, как пергамент. Глаза остекленевшие, запавшие. И виски тоже, это признак приближающейся смерти. Под сорочкой, чуть расстегнутой у ворота, видны какие-то веревочки и узелки. Врач касается сжатого кулачка, тот мгновение сопротивляется, а затем, словно бы устыдившись, расцветает перед ним высохшей розой пустыни. На ладони лежит кусок шелковой тряпицы, всю поверхность которого покрывают буквы: שׁוֹרֵי.

Ашеру кажется, будто старуха улыбается ему беззубым ртом, а ее темные, бездонные глаза отражают пламя свечей: такое ощущение, что это отражение на самом деле находится где-то очень далеко, в неведомых человеческих глубинах.

– Что с ней? – спрашивает врача Элиша, внезапно входя в эту тесную комнатку.

Ашер медленно встает и смотрит на обеспокоенное лицо Шора:

– А что с ней может быть? Она умирает. Свадьбы не увидит.

При этом Ашер Рубин делает соответствующее выражение лица. Зачем было везти сюда старуху в таком состоянии?

Элиша Шор отводит его в сторону и берет под локоть:

– У тебя же есть свои средства, тайные. Помоги нам, Ашер. Мясо уже порублено, морковь почищена. В мисках замочен изюм, женщины потрошат карпов. Ты видел, сколько гостей?

– Сердце у нее едва бьется, – говорит Рубин. – Я бессилён. Не стоило брать ее с собой.

Он осторожно высвобождает локоть из тисков и идет к выходу.

Ашер Рубин считает, что большинство людей глупы и что именно человеческая глупость наполняет мир печалью. Это не грех и не черта характера, с которой человек рождается, это неверный взгляд на мир, ложное суждение о том, что видят глаза. В результате люди воспринимают всё по отдельности, каждую вещь в отрыве от прочих. Подлинная мудрость – искусство соединять всё со всем, тогда проступают истинные очертания вещей.

Рубину тридцать пять, но выглядит он намного старше. В последние годы сторбился и полностью поседел, а ведь когда-то волосы у него были черными как вороново крыло. Появились проблемы с зубами. Иногда, в сырую погоду, опухают суставы пальцев; тело хрупко, приходится о нем заботиться. Ашеру удалось избежать брака. Невеста умерла, пока он учился. Он ее почти не знал, поэтому не был опечален этим событием. Зато его оставили в покое.

Рубин родом из Литвы. Юноша был явно одарен, и семья собрала средства на обучение за границей. Ашер уехал в Италию, но не доучился. Его одолела какая-то немощь. Едва хватило сил вернуться в Рогатин, где дядя, Анчель Линднер, шил облачения для православных священников – он был достаточно обеспечен, чтобы принять племянника под свой кров. Здесь Рубин начал поправляться. Несмотря на несколько лет медицинского образования, Ашер не мог понять, что с ним приключилось. Немощь, немощь... Рука лежала перед ним на столе, и у него не было сил ее поднять. Он не мог открыть глаза. Тетка несколько раз в день мазала ему веки смешанным с травами бараньим жиром; Рубин медленно оживал. Знания, полученные в итальянском университете, постепенно всплывали в памяти, и он сам стал лечить людей. Получается у него хорошо. Но Рубин чувствует себя в Рогатине как в западне, словно он – насекомое, попавшее в каплю смолы и застывшее в ней навеки.

В бейт-мидраше

Элиша Шор, которого длинная борода делает похожим на патриарха, держит внучку на руках и носом щекочет ей животик. Девочка радостно смеется, показывая еще беззубые десны. Запрокидывает головку, и комната наполняется ее смехом. Он напоминает воркование голубя. Затем из пеленок на пол начинает капать, и дедушка поспешно возвращает ребенка матери – Хае. Хая передает дочку дальше, другим женщинам, и малышка исчезает в глубине дома; путь ее отмечает струйка мочи на потертых половицах.

Полдень, Шору придется выйти из дома на холодный октябрьский воздух, чтобы попасть в другое здание, где находится бейт-мидраш и откуда, как всегда, доносится множество мужских голосов, нередко повышенных и раздраженных: можно подумать, это базар, а не место, где изучают священные книги и просвещаются. Шор идет к самым младшим – туда, где их обучают чтению. В семье много детей, одних внуков у Шора уже девятнадцать. Он считает, что детей следует держать в строгости. До обеда – учеба, чтение и молитва. Потом работа в магазине, помощь по дому и приобретение практических навыков, таких как ведение счетов или деловой переписки. А также уход за лошадьми, рубка дров и укладывание их в ровные поленицы, мелкий ремонт по дому. Они должны уметь все, потому что им все пригодится. Человек должен быть независим и самодостаточен, должен уметь все понемногу. И еще каким-то одним умением – в зависимости от способностей – овладеть в совершенстве, чтобы в случае необходимости оно помогло выжить. Нужно наблюдать, к чему тянется ребенок, тогда не ошибешься.

Элиша разрешает учиться и девочкам, но не всем и отдельно от мальчиков. У него глаз-алмаз, видит насквозь, безошибочно определяет, у кого учеба пойдет хорошо. Нет смысла тратить время на тех, кто менее способен и целеустремлен, эти девочки станут хорошими женами, родят много детей.

В бейт-мидраше одиннадцать детей, почти все они – внуки Элиши.

Самому Шору под шестьдесят. Он небольшой, жилистый и вспыльчивый. Мальчики, которые ждут учителя с минуты на минуту, знают, что дедушка придет посмотреть, как они учатся. Старый Шор делает это каждый день, если только не находится в одной из своих многочисленных поездок по торговым делам.

Появляется он и сегодня. Входит, как всегда, стремительно; две вертикальные морщины делают лицо еще более строгим. Но он вовсе не собирается пугать детей, поэтому не забывает улыбнуться. Сначала Элиша с тщательно скрываемой нежностью смотрит на каждого по очереди. Он обращается к детям приглушенным, немного хриплым голосом, словно вынужден сдерживаться, натягивать узду, и достает из кармана несколько крупных орехов – гигантских, чуть ли не с персик размером. На открытой ладони подсовывает мальчикам под нос. Те смотрят с любопытством, не ожидая подвоха, – думают, что сейчас будут этими орехами угощаться. Старик берет один и раскалывает рукой – хватка костлявых пальцев просто железная. Затем показывает первому попавшемуся мальчику – это оказывается Лейбек, сын Натана.

– Что это?

– Орех, – уверенно отвечает Лейбек.

– Из чего он состоит?

Теперь очередь следующего, Шломо. Этот менее уверен. Смотрит на дедушку и хлопает ресницами:

– Из скорлупы и сердцевины.

Элиша Шор доволен. На глазах у мальчиков театральными, замедленными движениями извлекает ядрышко и съедает, блаженно прикрывая глаза и причмокивая. Странная картина. Маленький Израиль за последней партой начинает смеяться – так забавно дедушка закатывает глаза.

– О, это слишком просто, – говорит Элиша, внезапно посерьезнев. – Взгляни, Шломо, внутри скорлупы есть еще одна оболочка, а ядро покрыто пленкой.

Он приобнимает детей, чтобы они все вместе склонились над орехом.

– Смотрите.

Все это затем, чтобы объяснить ученикам: точно так же обстоит дело и с Торой. Скорлупа – простейший смысл Торы, обычные рассказы, описывающие некие события. Потом – шаг вглубь. Дети пишут на своих табличках четыре буквы: пей, реш, далет, шин, а после того, как они справились с этой задачей, Элиша велит прочитать написанное вслух – все буквы вместе и каждую по отдельности.

Шломо читает бегло, но так, будто не понимает ни слова:

– П – пшат – буквальный смысл, Р – ремез – переносный смысл, Д – драш – то, что говорят ученые, С – сод – мистический смысл.

На слове «мистический» Шломо заикается, совсем как мать. До чего же он похож на Хаю, растроганно думает Элиша. Наблюдение поднимает ему настроение, все эти дети – его кровь, в каждом – частичка его самого, он подобен обтесываемому полену, от которого летят стружки.

– Как называются четыре реки, вытекающие из Эдема? – спрашивает Шор другого мальчика, с большими оттопыренными ушами и мелкими чертами лица. Это Гилель, внук его сестры. Тот отвечает без запинки: Пишон, Гишон, Хиддекель и Евфрат.

Входит Берек Сметанкес, учитель, и видит милую каждому сердцу сцену. Элиша Шор сидит среди учеников и рассказывает. Чтобы угодить старику, учитель делает благостное выражение лица, блаженно возводит глаза к небу. У него очень светлая кожа и почти белые волосы,

отсюда прозвище. На самом деле он панически боится этого маленького старичка и не знает никого, кто бы его не боялся. Разве что обе Хаи, большая и маленькая – дочь и невестка. Эти крутят Шором как хотят.

– Жили когда-то давно четыре великих мудреца по имени бен-Аззай, бен-Зома, Элиша бен-Абуя и раввин Акиба. Один за другим они вошли в рай, – начинает старик. – Бен-Аззай увидел и умер.

Элиша Шор делает драматическую паузу, умолкает и, высоко подняв брови, наблюдает за произведенным впечатлением. У маленького Гилеля от изумления открывается рот.

– Что это означает? – спрашивает мальчиков Шор, но, разумеется, никто не знает, поэтому, подняв указательный палец, старик сам отвечает на свой вопрос:

– А значит это, что он вступил в реку Пишон, имя которой переводится так: «Уста, познающие буквальный смысл».

Он выпрямляет еще один палец и продолжает:

– Бен-Зома увидел и потерял рассудок. – Элиша гримасничает, дети смеются. – Что это значит? Это значит, что он вступил в реку Гишон, название которой говорит о том, что человек видит только аллегорический смысл.

Шор знает, что дети все равно мало что понимают из его слов. Да это и не важно. Им не нужно понимать, главное сейчас – выучить наизусть. Поймут они позже.

– Элиша бен-Абуя, – продолжает он, – посмотрел и стал вероотступником. Это означает, что он вступил в реку Хиддекель и заблудился во многих возможных смыслах.

Теперь Шор тремя пальцами указывает на маленького Исаака, который начинает ерзать за своей партой.

– Только рабби Акиба вошел в рай и вышел невредимым, а это значит, что, окунувшись в Евфрат, он проник в самый глубокий, мистический смысл. Таковы четыре пути прочтения и понимания.

Мальчики с жадностью смотрят на орехи, лежащие перед ними на столе. Дедушка раскалывает их голыми руками и раздает детям. Внимательно наблюдает, как они съедают всё до последней крошки. Затем Шор уходит, лицо его делается суровым, улыбка исчезает; через лабиринты своего дома, напоминающего пчелиный улей, он отправляется к Енте.

Ента, или Неподходящий момент для смерти

Енту привезли из Королёвки ее внук Израиль с женой Соблой, которых также пригласили на свадьбу. Они тоже «свои», как и все здесь. Родственники живут далеко друг от друга, но держатся заодно.

Собственно, теперь они сожалеют об этом решении, и никто не помнит, чья была идея. Ну и что, что бабушка сама хотела. Они всегда ее боялись, потому что Ента держала в узде весь дом. Не откажешь. А теперь трясутся от страха, что бабушка умрет в доме Шоров, да еще во время свадьбы, и это навсегда омрачит жизнь новобрачных. Когда они в Королёвке садились в телегу с полотняным навесом, которую наняли в складчину с другими гостями, Ента была совершенно здорова и даже сама забралась на сиденье. Потом велела подать ей нюхательного табаку, и они ехали, пели, а после, утомившись, попытались заснуть. Из-под грязного и рваного полотнища Ента смотрела на мир, остающийся позади и образующий извилистые линии дорог, полей, деревьев и горизонта.

Ехали двое суток, трясло в телеге немилосердно, но старухе Енте всё было нипочем. Переночевали у родственников в Бучаче и на рассвете следующего дня двинулись дальше. Попали в такой туман, что всем свадебным гостям вдруг стало не по себе, вот тогда-то Ента и начала стонать, словно желая привлечь внимание окружающих. Туман – это мутная вода, она приносит всякие злые силы, смущающие разум, и человеческий, и звериный. Не сойдет ли

лошадь с дороги, не выведет ли к крутому речному берегу, откуда они рухнут в пропасть? Не овладеют ли ими какие-нибудь недосотворенные силы, злые и жестокие, не откроется ли на их пути вход в пещеру, где хранят свои сокровища подземные карлики, столь же уродливые, сколь и богатые? Может, от этого страха бабушка и занемогла.

В полдень туман рассеялся, и впереди, совсем недалеко от них, открылась невероятная громадина замка в Подгайцах, необитаемого и ветшающего. Над ним кружили огромные стаи ворон, раз за разом взмывающие с полуразрушенной крыши. Туман отступал перед их ужасным карканьем, эхом отзывающимся от стен. Израиль и его жена Собла, самые старшие в повозке, велели устроить привал. Остановились на обочине, собираясь передохнуть, достали хлеб, фрукты и воду, но бабушка уже ничего не ела. Сделала всего несколько глотков.

Когда поздно ночью они наконец добрались до Рогатина, Ента уже не держалась на ногах, ее шатало, пришлось звать мужчин, чтобы перенесли старуху в дом. Впрочем, хватило и одного. Сколько может весить Ента? Сушную чепуху. Как отощавшая коза.

Элиша Шор принял тетку с некоторым смущением, предоставил хорошую кровать в крохотной комнатке и приказал женщинам позаботиться о ней. Днем зашел, и теперь они шепчутся, как бывало раньше. Всю жизнь ведь знакомы.

Элиша озабоченно смотрит на Енту. Она знает, что тревожит Шора:

– Неудачный момент, верно?

Элиша не отвечает. Ента ласково щурится.

– А бывает ли подходящий момент для смерти? – наконец философски замечает Элиша.

Ента говорит, что дождется, пока схлынет волна гостей, от дыхания которых запотевают окна и тяжелеет воздух. Дождется, пока участники церемонии разъедутся, вволю натапцевавшие и напившись водки, пока хозяева сметут с пола растоптанные грязные опилки и перемоют посуду. Элиша смотрит на Енту: лицо обеспокоенное, но мысли его далеко.

Ента никогда не любила Элишу Шора. Этот человек подобен дому со множеством комнат: тут одно, там другое. Посмотришь снаружи – цельное здание, а внутри становится очевидна эта множественность. Никогда не знаешь, чего от него ждать. И еще: Элиша Шор никогда не бывает счастлив. Ему вечно чего-то не хватает, вечно он к чему-то стремится, хотел бы иметь то, что есть у других, или наоборот – обременен тем, чего у других нет и что кажется ему излишним. От этого он ожесточен и недоволен.

Поскольку Ента в доме самая старшая, все, кто приезжает на свадьбу, сразу идут к ней здороваться. Гости постоянно навешиваются в ее комнатку в конце лабиринта, во втором доме, в который нужно идти через двор и который соседствует с кладбищем, находящимся через дорогу. Дети заглядывают к Енте сквозь щели в стенах; пора их заделать – впереди зима. Хая подолгу сидит со старушкой. Ента кладет ее ладони себе на лицо, касается рукой глаз, губ и щек Хай – дети сами видели. Гладит по голове. Хая приносит ей лакомства, поит куриным бульоном, добавляет столовую ложку гусиного смальца, и тогда старая Ента долго чмокает от удовольствия и облизывает узкие сухие губы, но смальца недостаточно, чтобы она набралась сил и встала.

Сразу после приезда приходят навестить родственницу гости из Моравии – Соломон Залман и его молоденькая жена Шейндел. Они три недели добирались сюда из Брюнна²⁵, через Злин и Прешов, а затем Дрогобыч, но возвращаться будут другой дорогой. В горах на них напали беглые крестьяне, и Залману пришлось заплатить большие отступные, к счастью, забрали у них не все. Обрато супруги поедут через Краков – благо снег пока не лег. Шейндел уже беременна первым ребенком, она только что рассказала об этом мужу. Ее мучает тошнота. Хуже всего аромат каффы и пряностей, которыми пропахла передняя часть обширного дома Шоров – магазин рядом. Еще Шейндел не нравится, как пахнет от старухи Енты. Она боится

²⁵ Немецкое и старое русское название города Брно.

этой женщины, словно та какая-то дикарка – чудное платье, волосы на подбородке. В Моравии пожилые женщины выглядят намного опрятнее, они носят накрахмаленные чепчики и аккуратные передники. Шейндел убеждена, что Ента – ведьма. Ей предлагают присесть на край постели, но она боится. Вдруг что-нибудь перейдет от старухи к младенцу в ее животе – какое-нибудь мрачное безумие, которое невозможно обуздать. Шейндел старается ни к чему в этой комнате не прикасаться. От запаха ее до сих пор мутит. И вообще подольские родственники кажутся ей варварами. В конце концов Шейндел подталкивают к старухе, и она садится на край постели, готовая в любой момент убежать.

Зато Шейндел нравится запах воска – она украдкой нюхает свечи – и грязи, смешанной с конским навозом, а еще, она только что это обнаружила, – водки. Соломон, намного старше ее, хорошо сложенный, пузатый, бородатый мужчина средних лет, гордящийся тем, какая у него красивая и стройная жена, приносит ей рюмку. Шейндел пробует напиток, но проглотить не может. Выплевывает на пол.

Когда Шейндел присаживается на постель Енты, та вынимает руку из-под волчьей шкуры и кладет молодой женщине на живот, хотя он еще совсем не округлился. О да, Ента видит, что с недавних пор в животе у Шейндел обосновалась одна душа, еще смутная, с трудом поддающаяся описанию в силу своей множественности; в сущности, это свободные души, которых повсюду вокруг полно и которые только ищут возможности уцепиться за какой-нибудь незанятый кусок материи. И теперь они облизывают этот крохотный комочек, напоминающий головастика, всматриваются в него, но там пока нет ничего конкретного, лишь обрывки, тени. Трогают, пробуют на вкус. Сами они состоят из полос: образов, воспоминаний, памяти о поступках, фрагментов фраз, букв. Никогда раньше Ента не видела этого так ясно. По правде говоря, Шейндел иногда тоже не по себе, она тоже чувствует их присутствие – словно ее ошупывают десятки чужих рук, тычут в нее пальцами. Но мужу об этом рассказывать не хочет – не может подобрать слов.

Мужчины сидят в другой комнате, а женщины собираются у Енты, где становится тесно. Время от времени какая-нибудь из них приносит из кухни водки, свадебной, вроде как по секрету, втихоря, но ведь это часть праздничного ритуала. Скучившись в одном помещении, взбудораженные приближающимися торжествами, они забываются и начинают шалить. Однако большую это, похоже, не беспокоит – а может, она даже рада, что оказалась в центре веселой суматохи. Иногда женщины поглядывают на Енту с тревогой, виновато: она вдруг засыпает, но через несколько минут просыпается с детской улыбкой на губах. Шейндел многозначительно смотрит на Хая, когда та поправляет на больной волчьей шкуры, укутывает ее шею своей шалью и обнаруживает на старушке множество амулетов: какие-то мешочки на веревочках, деревяшки с начертанными на них знаками, костяные фигурки. Хая не смеет их касаться.

Женщины рассказывают друг другу страшные истории – о призраках, заблудших душах, похороненных заживо людях и приметах смерти.

– Если бы вы знали, сколько злых духов дожидаются хотя бы четверти капли крови из вашего сердца, вы бы, наверное, принесли в жертву свое тело и душу создателю этого мира, – говорит Цыпа, жена старого Нотки, она считается ученой.

– Где эти духи? – робко шепчет одна из женщин, а Цыпа поднимает с глинобитного пола палку и указывает на ее кончик:

– Здесь! Все они здесь – смотри внимательно.

Женщины вглядываются в кончик палки, глаза у них смешно косят, кто-то начинает хихикать, освещенная пламенем нескольких свечей палка в глазах двоится и троится, но никаких духов они не видят.

Что говорится в Зоаре

Элиша вместе со старшим сыном, двоюродным братом Залманом Добрушкой из Моравии и Израилем из Королёвки, который так сильно втянул голову в плечи, что каждому очевидно, насколько виноватым он себя чувствует, решают важный вопрос: что делать, если в доме предстоят одновременно свадьба и похороны. Они сидят вчетвером, склонившись друг к другу. Через некоторое время дверь открывается, и, шаркая ногами, входит раввин Мошко, знаток каббалы. Израиль почтительно вскакивает. Старика раввина не приходится вводить в суть дела – все в курсе, все только об этом и говорят.

Они перешептываются, наконец раввин Мошко начинает:

– В Зоаре говорится, что двух блудниц, представших перед царем Соломоном с одним живым ребенком, звали Махалат и Лилит, верно? – Старик делает паузу, словно давая им возможность припомнить соответствующий фрагмент книги. – Буквы имени Махалат имеют числовое значение 478. А Лилит – 480, верно?

Мужчины кивают. Они уже знают, что скажет раввин.

– Когда мужчина приходит на свадебный пир, он отвергает ведьму Махалат с ее 478 отрядами демонов, а когда оплакивает своего ближнего – побеждает ведьму Лилит с ее 480 отрядами демонов. Поэтому у Когелета 7:2 говорится: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо, идя в дом плача, побеждаешь 480 отрядов демонов, а в доме пира победишь лишь 478».

Иными словами: следует отменить свадьбу и дожидаться похорон.

Добрушка многозначительно смотрит на своего кузена Элишу и демонстративно закатывает глаза: он разочарован таким решением. Добрушка не может торчать здесь до скончания века. В Проснице, в Моравии, у него табачный бизнес, за которым нужен глаз да глаз. Плюс поставки кошерного вина для всех тамошних евреев, у него ведь монополия. Родичи жены – люди симпатичные, но простые и суеверные. Турецкая коммерция с их помощью идет хорошо, поэтому Добрушка и решил их навестить. Но сидеть тут до бесконечности не намерен. А вдруг снег выпадет? Собственно, решение раввина никому не нравится. Все хотят свадьбу – сейчас же, немедленно. Больше ждать нельзя, всё готово.

И Элиша Шор тоже недоволен решением. Свадьбу отменять нельзя.

Оставшись один, он зовет к себе Хаю – она сумеет дать совет, а в ожидании ее листает оставленную ксендзом книгу, в которой не понимает ни слова.

О проглоченном амулете

Ночью, когда все уже спят, Элиша Шор при свечах пишет на маленьком клочке бумаги буквы:

הממה, הממה, הממה

Хей-мем-тав-нун-хей. Хамтана – ожидание.

Хая в белой ночной сорочке стоит посреди комнаты и очерчивает вокруг себя в воздухе незримый круг. Поднимает над головой бумажку – так, чтобы та оказалась в круге, и долго стоит с закрытыми глазами. Губы ее шевелятся. Хая несколько раз дует на бумажку, затем аккуратно свертывает в трубочку и кладет в деревянную шкатулочку размером с ноготок. Потом еще долго стоит, молча склонив голову, наконец, посплюнув пальцы, продевает ремешок в отверстие амулета. И вручает отцу. Тот, со свечой в руке, идет по узким коридорам через спящий дом, наполненный поскрипываниями и похрапываниями, в комнату, где лежит Ента. Останавливается у двери и прислушивается. Похоже, ничто его не настораживает, потому что Элиша осторожно отворяет дверь, которая покорно поддается, не издав ни единого звука, и

открывает небольшое тесное помещение, едва освещенное масляной лампой. Острый нос Енты устремлен в потолок и отбрасывает на стену решительную тень. Не задеть бы, когда Элиша будет надевать амулет умирающей на шею. Когда Шор склоняется над Енттой, ее веки начинают подергиваться. Он замирает, но ничего не происходит – видимо, старухе снится сон: она дышит легко, почти незаметно. Элиша связывает кончики ремешка и засовывает амулет старухе под сорочку. Потом, на цыпочках, поворачивается и бесшумно уходит.

Когда пламя свечи исчезает за дверью и его уже почти не видно в щели между досками, Ента открывает глаза и слабеющей рукой нащупывает амулет. Она знает, что там написано. Старуха разрывает ремешок, открывает шкатулочку и, словно таблетку, проглатывает клочок бумаги с текстом.

Ента лежит в тесной комнате, куда слуги сносят верхнюю одежду гостей – сваливают в изножье кровати. Когда где-то в глубине дома начинает играть музыка, Енту под грудой пальто уже едва видно; наконец появляется Хая и наводит порядок: пальто перемещаются на пол. Хая склоняется к старушке и прислушивается к ее дыханию – оно такое слабое, что кажется, будто даже взмах крыльев бабочки заставил бы воздух колебаться сильнее. Но сердце бьется. Хая, слегка раздурманенная после водки, прикладывает ухо к груди Енты, к связкам амулетов, веревочек и ремешков, и слышит слабый стук, очень медленный, между двумя «тук-тук» умещается один вдох.

– Бабушка Ента! – тихо окликает Хая, и ей кажется, что полуприкрытые веки старушки вздрагивают, зрачки начинают двигаться, а на губах появляется некое подобие улыбки. Улыбка блуждающая, смутная – уголки рта то приподнимаются, то опадают, и тогда Ента выглядит мертвой. Руки у нее прохладные, а не холодные, кожа мягкая, бледная. Хая поправляет выбившиеся из-под платка волосы и наклоняется к самому уху: – Ты жива?

И снова на лице Енты откуда-то появляется эта улыбка, на мгновение замирает и исчезает. Хаю призывают доносящиеся издали топот ног и пронзительные звуки музыки, так что она целует старуху в прохладную щеку и убегает танцевать.

В комнате Енты слышно ритмичное постукивание – гости пляшут, хотя музыка сюда уже не доносится, застревает в деревянных стенах, распадается в хитросплетении коридоров на отдельные звуки. Слышен только топот и еще время от времени – визги и возгласы. С Енттой сидела пожилая женщина, но в конце концов не выдержала и ушла к гостям. Енте тоже интересно, что там происходит. Она с удивлением обнаруживает, что ей ничего не стоит выскользнуть из своего тела и зависнуть над ним; Ента смотрит прямо на свое лицо, запавшее и бледное, – странное ощущение; но потом уплывает, скользит вместе с порывами сквозняка, звуковыми волнами, без труда преодолевает деревянные стены и двери.

Теперь Ента видит всё сверху, но потом ее взгляд возвращается под закрытые веки. И так всю ночь. Вверх – и снова обратно. Балансирование на грани. Енту это утомляет, в сущности, она никогда так не уставала от работы – ни домашней, ни в огороде. И все же это приятно: и то и другое – и спуск, и подъем. Неприятен только сам толчок, сопровождающийся свистом, резкий, при помощи которого ее пытается вытолкнуть куда-то далеко за горизонт эта приходящая извне жестокая сила; с ней было бы трудно совладать, если бы тело – изнутри, непреклонно – не защищал амулет.

Поразительно – ее мысли овевают всю округу. Ветер – говорит какой-то голос у нее в голове, вероятно ее собственный. Ветер – это взгляд мертвых, которые смотрят на мир оттуда, где находятся. «Ты видела, как кланяется и колышется трава в поле? Наверное, на нее смотрит кто-то из мертвых», – хочется ей сказать Хае. Потому что, если сосчитать всех умерших, оказалось бы, что их намного больше, чем живых на земле. Их души уже очистились, скитаясь по множеству жизней, и теперь они ждут Мессию, который придет завершить дело творения. И смотрят на всё. Вот почему на земле дует ветер. Ветер – их зоркий глаз.

Опасливо поколебавшись, Ента тоже присоединяется к этому ветру, который проносится над домами Рогатина и маленькими низкорослыми местечками, над возчиками, притулившимися на рыночной площади в надежде, что подвернется клиент, над тремя кладбищами, над костелами, синагогой и православной церковью, над Рогатинским трактом – и устремляется дальше, колыхая пожелтевшую траву на холмах, сперва хаотично, беспорядочно, а потом так, словно разучивает танцевальные па, мчится вдоль русла рек до самого Днестра. Там Ента останавливается, потому что поражена совершенством извилистой линии реки, ее изгибы, подобные очертаниям букв гиммель и ламед. А потом она поворачивает обратно, но причиной тому вовсе не граница, которая, сговорившись с рекой, разделяет два больших государства. Ведь для взгляда Енты такие границы – ничто.

4

Марьяж и фараон

У епископа Солтыка в самом деле крупные неприятности. Даже молитва, искренняя и глубокая, не в силах смыть эти мысли. У него потеют руки, он просыпается слишком рано, когда начинают петь птицы, а спать, понятное дело, ложится поздно. Нервы его не знают отдыха.

Двадцать четыре карты. Каждому раздают по шесть, тринадцатую открывают – это козырь, старшая масть, она бьет остальные. Епископ успокаивается лишь тогда, когда садится играть, а точнее, когда на столе уже лежит козырь. В этот момент на него нисходит нечто вроде благодати. Ум обретает подлинное равновесие, волшебное *aequilibrium*²⁶, зрение фокусируется на столе с картами, глаз полностью охватывает всю картину. Дыхание выравнивается, испарина на лбу исчезает, ладони делаются сухими, уверенными, подвижными, пальцы ловко тасуют карты и открывают одну за другой. Это мгновения блаженства – да, епископ скорее предпочел бы не есть, лишит себя прочих телесных наслаждений, но не этих минут.

В марьяж епископ играет с равными себе. Недавно, когда сюда приезжал каноник из Перемышля, они просидели до самого утра. Солтык играет с Яблоновским, Лабенцким, Косаковским, но этого мало. Поэтому в последнее время случаются также эпизоды иного толка. Ему неловко об этом думать.

Солтык снимает через голову епископское облачение, переодевается в обычное платье и надевает шляпу. Об этом знает только его камердинер Антоний, он почти как родственник, ничем не выдает своего удивления. Действиям епископа не следует удивляться, епископ – это епископ, он знает, что делает, когда велит возить себя в предместья, в какой-нибудь трактир, туда, где наверняка будут играть в фараон на деньги. За стол садятся проезжие купцы, вояжирующие шляхтичи, заграничные гости, чиновники, доставляющие письма, и всякого рода авантюристы. Когда сидишь в трактире, прокуренном и не очень чистом, кажется, будто играют все, весь мир, и что карты связывают людей крепче, чем вера или язык. Сидишь за стол, раскидываешь веером карты – и открывается доступный всем порядок. Его тоже нужно уметь разыграть, чтобы оказаться в выигрыше, сорвать куш. Епископу представляется, что это новый язык, который на один вечер объединяет всех. Если денег не хватает, Солтык приказывает позвать еврея, но одалживает только небольшие суммы. На более крупные у него вексель от жиитомирских евреев, которые для епископа вроде банкиров, там он каждую ссуду подтверждает своей подписью.

Играют все, кто садится за стол. Разумеется, епископ предпочел бы компанию получше, равных себе игроков, но у тех редко имеются свободные деньги, скорее они найдутся у заезжих купцов или турок, а еще офицеров или всяких странных субъектов, что берутся неведомо откуда. Когда банкомет высыпает деньги на стол и тасует карты, те, кто хочет сыграть против него, понтеры, занимают места за столом, каждый со своей колодой. Игрок берет из нее одну или несколько карт и кладет перед собой. Сверху – ставка. Перетасовав, банкомет по очереди открывает все свои карты, выкладывая первую справа, вторую – слева, третью – снова справа, четвертую – слева и так далее, пока колода не закончится. Карты по правую руку – выигрыш банка, по левую – выигрыш понтеров. Так что если кто-нибудь положит перед собой семерку пик и на нее – дукат, а в колоде банкомета семерка пик ляжет с правой стороны – он свой дукат потеряет; однако если та ляжет с левой, банкомет заплатит дукат игроку. Из этого правила есть

²⁶ Равновесие (лат.).

и исключения – последняя карта, даже если и окажется слева, принадлежит банку. Выигравший в первой мётке может закончить игру, может играть снова на другую карту, но может и «гнуть пароли». Именно так всегда поступает епископ. Оставляет выигранные деньги на карте и загибает ее уголок. Если на этот раз он проиграет, то потеряет лишь начальную сумму.

Эта игра честнее: всё в руках Божьих. Какое здесь может быть жульничество?

Поэтому, когда у Солтыка накапливаются карточные долги, он призывает Господа, чтобы тот уберег его от скандала, если тайное станет явным. Он требует сотрудничества, ведь они с Богом – в одной команде. Но тот действует как-то вяло, а порой, видимо, испытывает желание превратить епископа в Иова. Солтык порой даже клянет Господа; потом, конечно, кается и просит прощения – всем ведь известно, что он человек вспыльчивый. Епископ наказывает себя постом и спит во власянице.

Пока еще никто не знает: чтобы расплатиться с долгами, он заложил епископский перстень. Житомирским евреям. Они не хотели брать, пришлось уговаривать. Увидев, что находится в привезенном Солтыком сундуке – хитроумно прикрытое мешковиной, – отпрянули и принялись стенать, причитать, махать руками, будто неведь что там увидали.

– Я не могу это взять, – сказал старший из них. – Для вас это превышает серебра и золота, а для меня – лом. Если у нас такое найдут, кожу живьем спустят.

Так они плакались, но епископ настаивал, голос повышал, пугал. Евреи взяли, заплатили наличными.

Не сумев отыгаться, епископ хочет теперь отобрать у евреев этот перстень, насладиться на них каких-нибудь вооруженных молодчиков – вроде бы перстень они хранят в халупе под полом. Если кто-нибудь узнает обо всей этой истории, Солтыку головы не сносить. Поэтому он готов на все, лишь бы вернуть перстень обратно.

А пока что пытается взять реванш в фараон, доверчиво уповая на Божью помощь. И в самом деле, поначалу удача на его стороне.

В комнате накурено, за столом их сидит четверо: епископ, какой-то путник, одетый на немецкий манер, но хорошо говорящий по-польски, местный шляхтич, который говорит по-русински, ругается по-русински, а на коленях держит молодую девушку, почти девочку. Шляхтич то отталкивает ее – когда карта не идет, то привлекает к себе и гладит почти обнаженную грудь, на что епископ глядит укоризненно. Четвертый – купец, на вид выкрест; ему сегодня тоже везет. Перед каждой раздачей епископ преисполнен уверенности, что уж теперь-то его карты лягут в нужную стопку, и глядит изумленно, когда они вновь оказываются не там, где надо. Невероятно.

Polonia est paradus Judaeorum...²⁷

Епископ Каетан Солтык, коадьютор²⁸ Киевской митрополии, усталый и невыспавшийся, уже отослал секретаря и теперь собственноручно пишет письмо епископу Каменецкому Миколаю Дембовскому.

Поспешно и собственноручно сообщаю тебе, мой друг, что телом я здоров, но утомлен хлопотами, навалившимися со всех сторон так, что порой я ощущаю себя диким зверем, попавшим в западню. Ты много раз приходил мне на помощь, и на сей раз я также обращаюсь к тебе, как к родному брату, во имя нашей многолетней дружбы, какой нигде более не встретишь.

²⁷ Польша – рай для евреев... (*лат.*)

²⁸ Католический титулярный епископ (то есть имеющий сан епископа, но не являющийся ординарием епархии), назначаемый Святым престолом в определенную епархию для осуществления епископских функций наряду с епархиальным епископом с правом наследования епископской кафедры.

Interium²⁹...

Между тем... между тем... Он не знает, что писать дальше. Как всё объяснить? Дембовский в карты не играет, поэтому вряд ли его поймет. Епископа Солтыка внезапно охватывает острое чувство несправедливости, он ощущает в груди легкое, теплое давление, от которого сердце будто тает и превращается в нечто мягкое, текучее. Он вдруг вспоминает, как был назначен на пост епископа Житомирского – первый свой приезд в неопрятный и грязный город, со всех сторон окруженный лесом... Теперь мысли стекают на кончик пера легко и быстро, сердце вновь крепнет, энергия возвращается. Епископ Каetan Солтык пишет:

Ты хорошо помнишь, что, когда я стал епископом Житомирским, город был наводнен всевозможными пороками. Даже грех многоженства был делом совершенно обыденным. Мужья продавали своих жен за проступки и обменивали на других. Сожительство или разврат отнюдь не считались чем-то безнравственным, говорят, что уже в день свадьбы молодожены обещали друг другу в этом смысле обоюдную свободу. Более того, не соблюдались ни религиозные предписания, ни заповеди, повсюду блуд и похоть, плюс к тому – нищета и нужда.

Напомню тебе детали. Епархия была разделена на три деканата: Житомирский – 7 приходов, 277 деревень и местечек, Хвастовский – 5 приходов, 100 деревень и местечек, и Овруцкий – 8 приходов, 220 деревень и местечек. При этом католиков – всего 25 000 человек. Мой доход с этих скромных епископских угодий достигал 70 000 польских злотых; учитывая расходы на консисторию, епархиальную школу – сущие гроши. Ты сам знаешь, какие там доходы – в подобных бедных районах. Собственные епископские доходы – деревни Скригалёвка, Веприк и Волица.

Сразу по приезде я в первую голову занялся финансами. Оказалось, что общая сумма пожертвований прихожан, какой располагает кафедральный собор, – 48 000 польских злотых. Эти деньги были вложены в частные хозяйства, и еще некоторая сумма ссужена Дубенецкому кагалу под годовые проценты 3337 польских злотых. Расходы же у меня были огромны: содержание костела, зарплата четырем викариям, служителям *et cetera*³⁰.

Капитул вел существование скромное, различные фонды на сумму 10 300 давали годовой доход в 721 польский злотый. От деревни, подаренной князем Сангушко, мы дополнительно имели 700 польских злотых, но хозяин деревни Цвиняч уже три года не платил проценты с взятых займы 4000. Сумма, пожертвованная неким офицером Петром, оставалась в руках каноника Завадского, который и не вложил ее никуда, и проценты не платил, то же с суммой 2000 польских злотых, остающейся у каноника Рабчевского. Иными словами, хаос невероятный, так что я энергично взялся за восстановление финансового благополучия.

Сколько я сделал, ты, дорогой мой друг, можешь сам оценить. Ты приезжал сюда и видел. Сейчас я заканчиваю строительство часовни, и неотложные расходы опустошили кошелек, но дело движется, поэтому прошу тебя, мой друг, оказать мне поддержку в сумме около 15 000, которую я смог бы вернуть сразу после Пасхи. Я пробудил в верующих стремление к жертвованиям, что на Пасху наверняка принесет свои плоды. Например, Ян Ольшанский, подкоморий³¹ слуцкий, вложил 20 000 в свои угодья в Брусилове, предназначив половину процентов на собор, а вторую половину – на увеличение числа миссионеров. Глембоцкий, подчасий³²

²⁹ Между тем (*лат.*).

³⁰ И так далее (*лат.*).

³¹ В воеводствах, землях и поветах выборный шляхтич, рассматривавший межевые споры между землевладельцами.

³² Почетная должность, занимавшаяся представителями знатных родов.

брацлавский, пожертвовал 10 000 на основание новой коллегии клириков и на алтарь в соборе и дал 2000 на семинарию.

Пишу тебе все это, ибо вершу важные дела и дабы ты мог быть уверен, что ссуда будет иметь покрытие. Между тем я ввязался в неприятную историю с жиитомирскими евреями, а поскольку они в бесстыдстве своем не знают меры, эти деньги нужны мне как можно скорее. Поразительно, что в нашей Речи Посполитой евреи могут столь открыто нарушать законы и оскорблять общественную нравственность. Не зря папы Климент VIII, Иннокентий III, Григорий XIII и Александр III раз за разом приказывали жечь их Талмуды, а когда мы наконец собрались сделать это здесь, не только не получили поддержки, но даже и светская власть воспротивилась.

Это наводит на размышления: татары, ариане, гуситы изгнаны, а об изгнании евреев как-то позабыли, хотя они пьют нашу кровь. Уже и за границей появилось о нас присловье: *Polonia est paradisus Judaeorum...*

О плебании в Фирлеюве и ее обитателе – грешном пастыре

Эта осень напоминает гобелен, вышитый невидимыми иглами, – так думает Эльжбета Дружбацкая, пока едет в одолженной старостой бричке. Глубокие коричневые тона вспаханных борозд и более светлая полоска сухой земли на полях, да еще смолистые ветки, на которых до сих пор держатся самые упрямые листья, кажутся пестрыми пятнами. А кое-где и зеленый цвет все еще сохраняет сочность, будто трава позабыла, что сейчас конец октября и по ночам случаются заморозки.

Дорога прямая, как стрела, летит вдоль реки. Слева песчаный овраг – когда-то давным-давно здесь обрушилась земля. Сюда тянутся крестьянские телеги за желтым песком. По небу плывут беспокойные тучи; то темно и серо, то вдруг вырвется яркое солнце, и все предметы на земле делаются пугающе четкими и колючими.

Дружбацкая скучает по дочери – та сейчас ждет пятого ребенка – и думает, что, в сущности, должна находиться с ней рядом вместо того, чтобы колесить с эксцентричной каштеляншей по чужой стране, а уж тем более тащиться в гости к ксендзу-энциклопедисту. Но ведь эти поездки ее кормят. Хотя, казалось бы, поэзия – занятие оседлое, ближе к саду, чем к дороге, в самый раз для такой домоседки, как она.

Ксендз встречает гостью у ворот. Хватает лошадь под уздцы, словно совсем зажался, сразу берет Дружбацкую под руку и ведет в сад возле дома:

– Прошу вас, сударыня.

Плебания стоит прямо у разбитого тракта. Это деревянный дом, ухоженный, старательно побеленный. Видно, что летом он утопает в цветах, которые теперь лежат пожелтевшими подушками. Но чьи-то руки уже занялись уборкой и сложили часть стеблей в кучу, она еще тлеет – похоже, воздух слишком влажен и огонь робеет. По стеблям гордо расхаживают два павлина. Один – старый и дряхлый, с жалкими остатками хвоста, второй, самоуверенный и агрессивный, подбегает к Дружбацкой и клюет платье, так что женщина испуганно отскакивает.

Она бросает взгляд на сад – красивый, аккуратные клумбы, дорожка вымощена круглыми камнями, все устроено строго по правилам садового искусства: у ограды розы – на настойку и, вероятно, венки для украшения костела, дальше дягиль, анис, шалфей. На камнях – поникшие тимьян, мальва, копытень, пупавка. Сейчас от трав мало что осталось, но обо всем можно узнать из названий на деревянных табличках.

От плебании в глубь сада ведет старательно разровненная граблями дорожка, по обе стороны от нее стоят несколько топорные бюсты с высеченными подписями, а над входом виднеется дощечка с корявой надписью – похоже, ксендз сам ее изготовил:

Тело человека – тление и смрад.
Пусть его очистит ароматный сад³³.

Прочитав сей опус, Дружбацкая морщится.

Места не очень много; вдруг начинается крутой спуск к реке, но и тут ксендз устроил сюрпризы: каменные ступеньки, небольшой мостик через крохотный ручей, за которым стоит костел – высокий, мощный, мрачный, возвышающийся над соломенными крышами изб.

Спускаясь по ступенькам, слева и справа можно полюбоваться лапидарием. Следует остановиться перед каждым камнем и прочитать надписи.

Ex nihil orta sunt omnia, et in nihilum omnia revolvuntur. «Все из ничего возникло и в ничто обратится», – читает Дружбацкая, и ее вдруг пробивает дрожь – и от холода, и от этих не слишком умело высеченных слов. К чему все это? К чему все усилия? Эти дорожки и мостики, эти садики, колодцы и ступеньки, эти надписи?

Теперь по каменистой тропке ксендз ведет ее к дороге, таким образом они описывают вокруг небольшого хозяйства круг. Бедная женщина, похоже, не ожидала, что ее ждут такие испытания. Ботинки у Дружбацкой, правда, добротные, кожаные, но она промерзла в бричке и надеялась поскорее прижаться старческой спиной к печке, а не бегать туда-сюда по камням. Наконец, завершив принудительную прогулку, хозяин приглашает гостью в дом; у порога плетения стоит большая плита с выгравированной надписью:

Скромный ксёндз, что звался ране
Бенедикт Хмелёвский,
Грешный, пока жил он с нами,
Пастырь фирлеёвский.
В Подкамень был плебаном,
А в Рогатине деканом.
Кар достойный, а не хроник,
Праха горсть, а не каноник,
Помолиться просит всё же,
Пусть грехи его не гложат.
Отче наш, Аве Мария прочитай сердечно,
И душа его, насытись, возликует вечно!³⁴

Дружбацкая изумленно смотрит на ксендза:

– Что это? Вы уже готовитесь к смерти, отец?

– Лучше все устроить заранее, чтобы не доставлять потом хлопот бедным родственникам. Я хочу знать, что будет написано на моей могильной плите. Ведь наверняка чушь сочинят, какая тебе и в голову бы не пришла. А так я, по крайней мере, уверен.

Уставшая Дружбацкая садится и оглядывается по сторонам – ей хочется пить, но стол пуст, только какие-то бумаги лежат. Весь дом пропитался сыростью и дымом. Дымоходы, похоже, давно не чищены. И дует. В углу белая кафельная печь, рядом – дрова, но затопили недавно, и комната еще не прогрелась.

– До чего же я замерзла, – признается Дружбацкая.

Ксендз, поморщившись, будто проглотил что-то несвежее, поспешно открывает буфет и вынимает оттуда граненый графин и рюмки.

³³ Перевод А. Хованского.

³⁴ Перевод А. Хованского.

– Лицо каштелянши Коссаковской показалось мне знакомым... – нерешительно начинает он, разливая ликер. – Я когда-то знал ее старшую сестру...

– Должно быть, пани Яблоновскую? – рассеянно спрашивает Дружбацкая, пригубив сладкий напиток.

В комнату входит веселая полная женщина, вероятно экономка ксендза, на подносе она несет две дымящиеся тарелки с супом.

– Кто же гостей по такой холодине гоняет? – с упреком говорит она ксендзу, и видно, что под ее укоризненным взглядом тот смущается. Дружбацкая заметно оживляется. Да будет благословенна эта пухлая спасительница.

Суп густой, овощной, да еще с клецками. Только теперь ксендз-декан замечает грязные ботинки Дружбацкой и ее сгорбленную спину; видит, что вся она дрожит, и инстинктивно делает такой жест, будто хочет обнять гостью, но, разумеется, не обнимает.

Вслед за экономкой в комнату вбегает собака, средних размеров, лохматая, с висячими ушами и волнистой каштановой шерстью. Старательно обнюхивает платье Дружбацкой. Наклонившись, чтобы ее погладить, та обнаруживает увязавшихся за матерью щенков: четыре штуки, все разные. Экономка хочет прогнать их и снова журит ксендза: почему, мол, дверь не заперта. Но Дружбацкая просит оставить собачек в комнате. Те не отходят от ксендза и его гостьи до самого вечера, больше всего им нравится сидеть у печки, которая наконец нагревается достаточно, чтобы Дружбацкая могла снять свой короткий кубрак на меху.

Дружбацкая смотрит на отца Бенедикта и внезапно ощущает все одиночество этого стареющего, неухоженного мужчины, суесящегося вокруг нее и по-мальчишески пытающегося произвести впечатление. Он ставит графин на стол и рассматривает стаканы на свет – чистые ли. Поношенная, потрепанная сутана из камлота протерлась – на животе образовалось более светлое пятно. Почему-то это глубоко трогает Дружбацкую. Она заставляет себя отвести глаза. Берет на колени щенка, это сучка, очень похожая на мать; она сразу переворачивается на спинку, открывая нежный животик. Дружбацкая начинает рассказывать ксендзу о детях дочери – одни девочки, – но кто знает, может, тема ему неприятна? Хмелёвский слушает невнимательно, шарит глазами по комнате, словно раздумывает, чем бы еще удивить эту даму. Они пробуют наливку, Дружбацкая одобрительно кивает. Наконец наступает черед коронного блюда: отодвинув рюмки и графин, Хмелёвский с гордостью кладет перед гостьей плоды своих трудов. Дружбацкая читает вслух:

– «Новые Афины, или Академия, всяческих ученостей полная, на различные предметы, а также классы разделенная. Мудрым – чтобы помнили, Сородичам – чтобы призадумались, Профанам – чтобы узнали, а Меланхоликам – в утешение, под редакцией...».

Ксендз, с удовольствием откинувшись на спинку кресла, залпом выпивает рюмку ликера. Дружбацкая, не скрывая своего восхищения, вздыхает:

– Прекрасное название. А ведь это совсем непросто – удачно озаглавить свой труд.

Ксендз скромно отвечает, что хотел бы составить компендий, такой, который стоял бы в каждом доме. А в нем – понемногу обо всем, чтобы человек, если чего-то не знает, мог снять с полки книгу и найти ответ. География, медицина, людские языки, обычаи, но также флора и фауна и всевозможные диковинки.

– Вообразите себе, сударыня: все под рукой, в каждой библиотеке. Все человеческие знания под одной обложкой.

Ему уже многое удалось собрать и несколько лет назад опубликовать в двух томах. А теперь ксендз хочет, помимо латыни, изучить еще древнееврейский и из еврейских книг почерпнуть разные любопытные сведения. Однако раздобыть их довольно сложно, приходится просить самих владельцев, евреев, к тому же из христиан на этом языке мало кто читает. Правда, ксендз Пикульский кое-что ему любезно объяснил, однако, не владея древнееврейским, ксендз Бенедикт, в сущности, лишен доступа к этим знаниям.

– Первый том вышел во Львове в издательстве некоего Гольчевского...
Гостья играет с собакой.

– Сейчас я пишу приложение к обеим книгам, то есть третий и четвертый тома, и на этом, вероятно, закончу описание мира, – добавляет ксендз Хмелёвский.

Что сказать Дружбацкой? Он снимает с ее коленей щенка и кладет на них книгу. Да, гостья с ней знакома, читала, когда жила в усадьбе Яблоновских – у них есть первое издание. Сейчас пани Дружбацкая открывает раздел о животных и находит кое-что о собаках. Читает вслух:

– «В Пётркове у нас был очень забавный пес, который по команде хозяина относил нож на кухню, тер лапами, ополаскивал и приносил обратно».

– Да, и ее мать это умела, – радуется ксендз, указывая на свою собаку.

– А почему здесь так много латыни, дорогой отец? – внезапно спрашивает Дружбацкая. – Она ведь не всякому доступна.

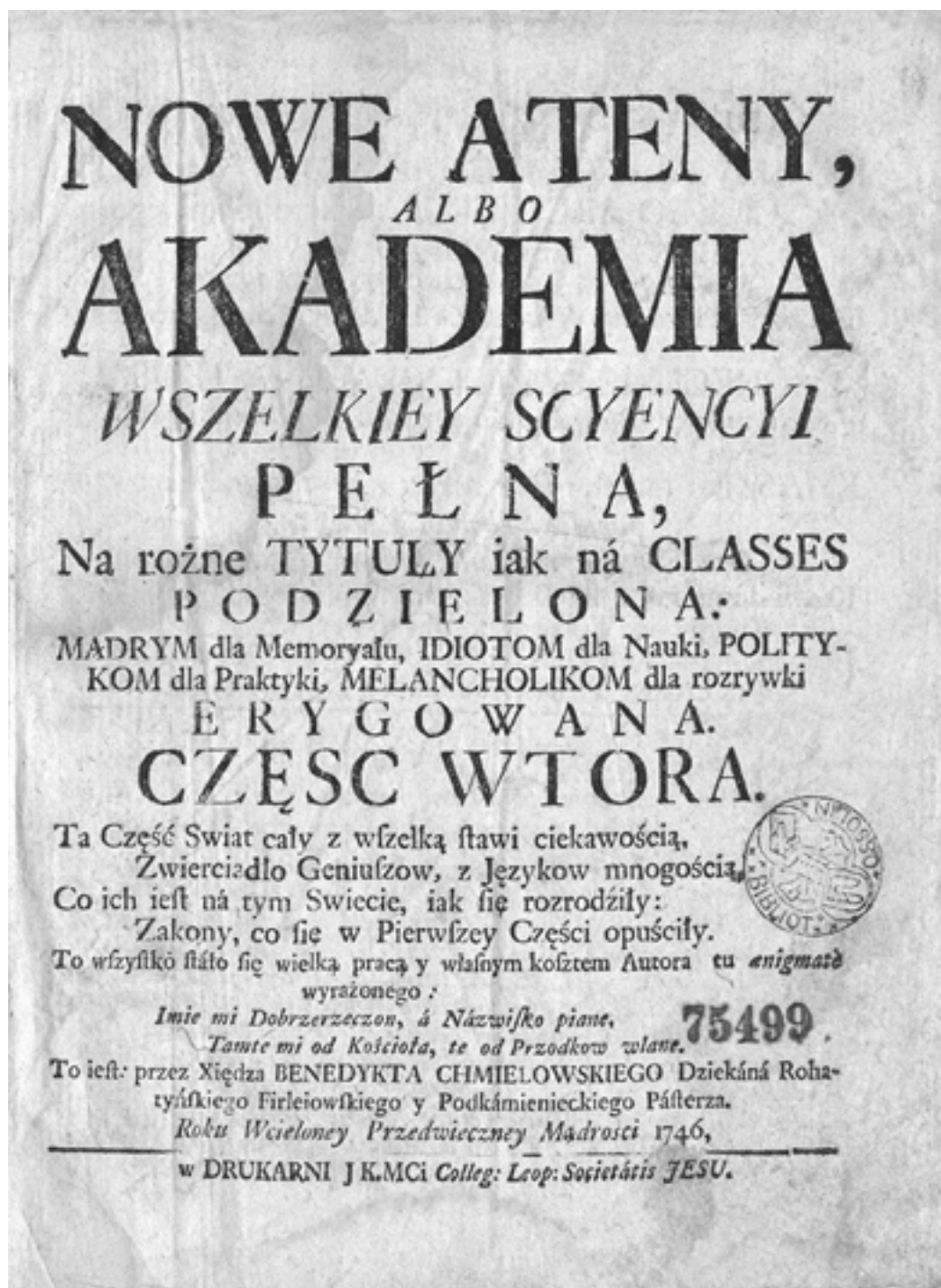
Ксендз спокойно ерзает в своем кресле.

– Ну как же? Ведь каждый поляк говорит на латыни так свободно, будто с нею родился. Польский народ – *gens culta, polita*³⁵, всяких ученостей полон, точно сарах³⁶, поэтому совершенно справедливо имеет пристрастие к латыни и лучше всех на свете латинские слова произносит. Мы, в отличие от итальянцев, говорим не «редзина», а «регина», не «тридзинта», «квадрадзинта», а «тригинта», «квадрагинта». Мы не искажаем латынь, как немцы и французы, которые вместо «Иезус Христус» говорят «Й-е-д-з-ы-с Крыстус», вместо «Михаэль» – «Микаэль», вместо «харус» – «карус»...

– Но каких поляков вы имеете в виду, дорогой отец Бенедикт? Дамы, к примеру, на латыни говорят редко, так как ей не обучены. И мещане обычно совершенно не знают латыни, а вы ведь хотите, чтобы вас читали не только высшие сословия... Даже староста предпочтет латыни французский. Мне кажется, в следующем издании следует всю эту латинскую речь выполоть, как сорняки в вашем саду.

³⁵ Народ просвещенный и благонравный (*лат.*).

³⁶ Мудрец (*лат.*).



Ris 278. nowe ateny

Ксендз неприятно удивлен такой критикой.

Похоже, гостя больше интересуется собаками, чем его книгами.

Солнце уже почти зашло, когда Дружбацкая садится в бричку, и ксендз подает ей корзинку с двумя щенками. Пока она доберется до Рогатина, совсем стемнеет.

– Вы могли бы найти приют под скромным кровом моей плебании, – говорит ксендз и сам на себя сердится за эти слова.

Когда бричка уезжает, ксендз не знает, чем себя занять. Он накопил больше сил, чем истратил за эти два часа, хватило бы на целый день, на неделю. Доски забора – там, где мальвы, – отвалились, получилась некрасивая дыра, так что ксендз решительно берется за

дело. Но потом вдруг замирает и чувствует, как на него со всех сторон накатывает какое-то оцепенение, робость, и тут же все, что не получило имени, начинает разлагаться, возникает хаос, все преет вместе с опавшей листвой, перегнивает у него на глазах. Отец Хмелёвский тем не менее заставляет себя взять молоток и гвозди, но внезапно это занятие представляется ему чересчур сложным, доски выскальзывают из рук и падают на влажную землю. Ксендз идет в дом, в темных сенях снимает ботинки и входит в свою библиотеку; в помещении с низким балочным потолком ему вдруг становится душно. Декан садится в кресло, огонь в печи уже разгорелся, и белый кафель, покрытый зеленоватой глазурью, медленно нагревается. Он смотрит на книжечку, написанную этой пожилой женщиной, берет ее в руки, обнюхивает. Томик еще пахнет типографской краской. Ксендз читает:

И вправду так бледна, иссохший страшный вид.
По телу жилы, как канаты, вьются.
Похоже, никогда не ест, не пьет, не спит.
И в ребра выгнутые внутренности бьются.
Провалы глаз – как рывины в земле,
И мозг живой застыл в густой смоле³⁷.

– Спаси нас, Господи, от всяческого зла, – шепчет ксендз и откладывает книгу. А ведь гостя показалась ему такой симпатичной...

И вдруг он понимает, что нужно возродить в себе детский энтузиазм, заставлявший его писать. Иначе эта осенняя сырость его погубит, он подвергнется разложению подобно листве.

Отец Хмелёвский садится за стол, сует ноги в сапог из волчьей шкуры, который сшила ему экономка, чтобы он не мерз, когда пишет, часами просиживая в одной позе. Раскладывает листы бумаги, точит перо, растирает озябшие руки. В это время года отцу Хмелёвскому всегда кажется, что он не доживет до весны.

Ксендз-декан знает мир только по книгам. Каждый раз, когда он усаживается за стол в своей библиотеке в Фирлеюве и берет большой фолиант или маленький эльзевир, ему представляется путешествие в неведомую страну. Отцу Хмелёвскому по душе эта метафора, он мысленно улыбается и пытается облечь ее в лаконичную фразу... Легче писать о мире, чем о себе. Вечно чем-то занятый, он не уделял себе внимания, не записывал события из своей жизни, и теперь ксендзу кажется, будто у него нет биографии. Если бы эта дама, что пишет столь мрачные стихи, спросила его, кто он, как прожил свои годы, что бы он ответил? А захоти он это описать, текст занял бы не больше нескольких страниц: даже не томик, не маленький эльзевир, а просто брошюрка, книжца с картинкой, крохотное житие далекого от святости человека. Не странник, не инспектор, объезжающий чужие края...

Ксендз Бенедикт окунает перо в чернила и на мгновение замирает, держа его над листом бумаги, а затем вдохновенно начинает:

История жизни достопочтимого ксендза Иоахима Бенедикта Хмелёвского, герба Наленч, приходского священника в Фирлеюве, Подкамене и Янчине, рогатинского декана и убогого пастуха тощего стада, писанная его собственной рукой и без претензий на высокий польский слог, дабы не затемнять смыслов сказанного, Читателю *ad usum*³⁸ адресованная.

Заголовок занимает полстраницы, поэтому ксендз берет еще один лист, но рука словно затекла, больше ничего писать не желает или не может. Когда он написал «Читателю», перед

³⁷ Перевод А. Хованского.

³⁸ Для употребления (*лат.*).

глазами возникла Дружбацкая, эта миниатюрная пожилая женщина с румяным лицом и выразительными глазами. Ксендз обещает себе прочесть ее стихи, но многого от них не ждет. Пустозвонство. Наверняка пустозвонство и еще бесчисленные сонмы греческих богов.

Жаль, что она уехала.

Придвинув к себе еще один лист, отец Хмелёвский окунает перо в чернила. «Что бы написать?» – раздумывает он. История жизни ксендза – это история прочитанных и написанных им книг. Мать, видя тягу юного Бенедикта к печатному слову, в возрасте пятнадцати лет послала сына учиться во Львов, к иезуитам. Это решение значительно улучшило его отношения с отчимом, который Бенедикта не любил. С тех пор они, кажется, ни разу и не виделись. Затем Бенедикт сразу поступил в семинарию и вскоре был рукоположен. Первым местом службы стало имение Яблоновских, где его воспитанником стал Дмитрий, всего пятью годами младше учителя. Там отец Хмелёвский научился казаться старше, чем он есть, и говорить назидательным тоном, в котором его порой упрекают и по сей день. Ему также разрешили пользоваться хозяйской библиотекой, довольно обширной, и там он обнаружил труды Кирхера и *Orbis pictus*³⁹ Коменского. К тому же рука, служанка весьма своенравная, сама тянулась к перу, особенно в первую весну, которую ксендз провел там, сырую и душную, и особенно когда рядом оказывалась пани Иоанна Мария Яблоновская, мать Дмитрия и супруга хозяина (о чем отец Бенедикт старался не думать). Влюбленный до безумия, оглушенный своими чувствами, отрешенный, измученный, он вел с собой жестокую борьбу. Чтобы не выдать себя, ксендз полностью погрузился в работу и написал для любимой женщины молитвенник. Таким образом ему удалось отделить свою возлюбленную от себя, в сущности нейтрализовать ее, освятить и превознести: вручая пани Яблоновской рукопись (за несколько лет до того, как книга была опубликована во Львове, а затем сделалась довольно популярной и вышла еще несколькими изданиями), чувствовал себя так, словно обвенчался с ней, соединился и теперь дарит ей дитя от этого союза. «Годовой круг» – молитвенник. Так отец Бенедикт понял, что слово написанное исцеляет.

Иоанна переживала опасный для окружающих мужчин период жизни – между возрастом их матери и возрастом любовницы. Поэтому эротическое очарование материнства было не слишком откровенно и им можно было наслаждаться вволю. Представлять свое лицо погруженным в пену кружев, ощущая слабый запах розовой воды и пудры, бархатистость кожи, покрытой персиковым пушком, уже не столь свежей и упругой, но теплой, шелковистой, мягкой, словно замша. По рекомендации княгини Яблоновской двадцатипятилетний ксендз с разбитым сердцем получил от короля Августа II назначение в Фирлеюв и принял этот небольшой приход. Перевез свою библиотеку и сколотил для нее красивые резные витрины. Собственных книг у него было сорок семь; прочие он заимствовал из монастырских собраний, в епископстве, в поместьях магнатов, где они чаще всего лежали с неразрезанными страницами, в качестве сувениров, привезенных из заграничных вояжей. Первые два года оказались тяжелы. Особенно зимы. Тогда ксендз перенапряг глаза, потому что быстро темнело, а он не мог остановиться. Он написал две странные книжки: «Бегство святых к Богу» и «Путешествие в иной мир», которые не решился опубликовать под своим именем. В отличие от молитвенника, эти труды не получили особой известности и затерялись. Несколько экземпляров ксендз хранит здесь, в Фирлеюве, в специальном сундуке, который приказал обить железом и снабдить крепкими замками на случай пожара, кражи и иных возможных катаклизмов, от которых не застрахованы обычные человеческие библиотеки. Он точно помнит форму молитвенника и запах его переплета из простой темной кожи. Странно, но помнит он и прикосновение руки Иоанны Яблоновской: у нее была такая привычка – умиротворяюще накрывать его ладонь своей. И еще кое-что: он

³⁹ «Мир в картинках» (лат.).

помнит нежную мягкость прохладной щеки, когда, совершенно обезумев от любви, Бенедикт однажды осмелился поцеловать хозяйку.

Вот и вся его жизнь: изложение ее, пожалуй, заняло бы не больше места, чем название. Его возлюбленная умерла до того, как вышли «Новые Афины», а ведь и эту книгу породила любовь.

Однако это странное стечение обстоятельств даровано ему Провидением, вероятно, затем, чтобы он задумался о своей жизни. В каштелянше Коссаковской ксендз разглядел черты ее старшей сестры, княгини Яблоновской, на службе у которой не один год провела пани Дружбацкая. Она даже сказала, что присутствовала при кончине Иоанны Марии. Это смутило покой ксендза: Дружбацкая предстала посланницей из прошлого. Прикосновение, щека, ладонь той каким-то образом перешли к этой. Всё уже не так пронзительно и ярко, всё сделалось размытым и нечетким. Как сон, который тает при пробуждении, рассеивается, словно туман над полями. Ксендзу это не очень понятно, но он и не стремится понять. Люди, которые пишут книги, – приходит ему в голову, – не хотят иметь свою историю. Да и зачем? По сравнению с написанным она всегда будет выглядеть скучной и пресной. Ксендз сидит, держа на весу уже высохшее перо. Наконец свеча догорает, с коротким шипением гаснет – и отец Хмелёвский погружается во тьму.

Ксендз Хмелёвский пытается написать письмо пани Дружбацкой

Ксендз Хмелёвский не удовлетворен тем, что ему удалось сказать во время визита пани Дружбацкой. Собственно, сказать мало что удалось – вероятно, по причине врожденной застенчивости. Он все только хвастался, таскал гостью по камням, холоду и сырости. Сама мысль о том, что эта мудрая и образованная женщина могла принять его за глупца и невежу, раздражает ксендза. Это беспокоит его, и в конце концов он решает, что напишет пани Дружбацкой письмо, в котором изложит свои аргументы.

Начинает отец Хмелёвский красиво:

О, Предводительница Муз, Возлюбленная Аполлона...

Но больше в этот день ксендзу ничего написать не удастся. Фраза нравится ему примерно до обеда. За ужином она уже кажется жалкой и напыщенной. Лишь вечером, согрев разум и тело горячим пряным вином, ксендз Хмелёвский смелеет, кладет перед собой чистый лист бумаги и пишет Дружбацкой благодарственное письмо за то, что она навестила его в «фирлеувском уединении» и пролила свет на однообразные серые будни. Он надеется, что слово «свет» гостя поймет в переносном, поэтическом смысле.

Он также расспрашивает о щенках и рассказывает о своих проблемах: лиса передушила всех кур, теперь приходится посылать за яйцами к крестьянину. Новых декан заводить боится – это означало бы вновь обречь их на гибель в лисьей пасти... И так далее.

Ксендз отказывается признаться даже самому себе, но теперь он все время ждет ответа. Мысленно подсчитывает, сколько может идти почта в Буск, где сейчас находится пани Дружбацкая. Это ведь недалеко. Пора бы уже.

И письмо наконец приходит. Держа конверт в протянутой руке, Рошко разыскивает адреса по всей плебании. Ксендз обнаруживается в подвале – наливает вино.

– Как ты меня напугал, – вздрагивает декан. Вытирает руки фартуком, который всегда надевает, хлопоча по хозяйству, и осторожно, двумя пальцами, берет конверт. Но не вскрывает. Рассматривает печать и свое имя, начертанное красивым почерком, свидетельствующим об уверенности пишущего: завитушки развешаются на бумаге, точно боевые знамена.

Лишь позже, через час, когда в библиотеке уже натоплено, ксендз, запасшись горячим вином с пряностями и укутав ноги мехом, осторожно открывает конверт и читает...

Эльжбета Дружбацкая пишет ксендзу Хмелёвскому

Рождество 1752 г., Буск

Достопочтимый сударь,

вот мне и выпала прекрасная возможность в день Рождества Спасителя нашего пожелать Вам всяческого благополучия, а также крепкого здоровья и доброго самочувствия, ибо мы столь хрупки, что любой пустяк нас погубить может. Да будет Вам удача во всем, и пусть милость Младенца Иисуса благоволит к Вам вовеки.

Я была весьма впечатлена моим визитом в Фирлеув и должна признаться, что иначе воображала себе столь славного Автора: думала, что у Вас большая библиотека, а в ней множество секретарей, и все работают на Вас, пишут и переписывают. А Вы, отец, скромны, словно Франциск.

Восхищаюсь, сударь, Вашим искусством садовника, Вашей изобретательностью и огромной эрудицией. Сразу по приезде я принялась с большим удовольствием перечитывать по вечерам «Новые Афины», которые хорошо знаю, так как с упоением читала их, когда они были впервые опубликованы. И если бы глаза позволяли, проводила бы так многие часы. Потому что теперь это чтение особенное, ведь я лично знакома с Автором, и мне даже случается слышать его голос, словно Вы читаете мне вслух. Да и книга эта имеет какое-то волшебное свойство: ее можно читать бесконечно, с любого места, и всякий раз что-нибудь интересное остается в памяти, и множество поводов задуматься о том, насколько велик и сложен мир и никак невозможно объять его мыслью, разве что отрывочно, толикой слабого понимания.

Однако теперь темнота опускается так быстро и ежедневно поглощает мгновения нашей жизни, а пламя свечей – лишь убогая имитация света, вынести который глаза наши не в силах.

Однако я знаю, что замысел «Новых Афин» – замысел величайшего гения и громадного мужества, и значение этой книги для всех нас, живущих в Польше, огромно, ибо это подлинный компендий наших знаний.

Однако есть кое-что, препятствующее чтению Вашего, достопочтимый сударь, труда, и мы уже говорили об этом у Вас в Фирлеуве: это латынь, причем не сама по себе, а ее бесконечные вкрапления, ее вездесущее присутствие, точно соли, которая, если пища сдобрена ею сверх меры, вместо того чтобы подчеркнуть вкус, затрудняет проглатывание.

Я понимаю, достопочтенный отец, что латынь – язык, которому все подвластно, в котором подходящих слов больше, нежели в польском, однако не владеющий им Вашу книгу прочитать не сумеет, совершенно потеряется. Подумали ли Вы о тех, кто тянется к чтению, но не знает латыни? Подобно, к примеру, купцам, не слишком хорошо образованным мелким помещикам или даже ремесленникам, тем, что посмышленей, – ведь именно им пригодились бы те знания, которые Вы так тщательно собираете, а вовсе не Вашим братьям-священнослужителям, ксендзам и академикам, что и так имеют доступ к книгам. Если, конечно, пожелают таковые прочесть, ибо это случается не всегда. Я уж не говорю о женщинах, которые зачастую отлично читают, но,

поскольку в школы их не посылают, латынь здесь окажется препятствием непреодолимым.

Епископ Солтык пишет письмо папскому нунцию

Вчера он решил, что напишет это письмо, покончив с остальными, но не сумел превозмочь усталость, поэтому сегодня придется начать свой день со столь неприятного дела. Сонный секретарь подавляет зевок. Он вертит в руках перо, проверяет толщину линии, наконец епископ начинает диктовать:

Епископ Каетан Солтык, коадьютор Киевской митрополии, папскому нунцию Никколо Серра, архиепископу Мителенскому...

Тут входит мальчик-слуга, который топит печи, и принимается убирать золу. Шарканье совка кажется епископу невыносимым, мысли из его головы моментально вылетают, точно облачко пепла. И на вкус это дело точно такое же.

– Приходи попозже, мальчик, – мягко велит ему епископ и задумывается, пытаясь собрать разлетевшиеся мысли. Перо набрасывается на ни в чем не повинную бумагу:

Еще раз хочу поздравить Ваше Высокопреосвященство с новым назначением в Польше, питая надежду, что сие откроет возможности для всестороннего укрепления веры в Иисуса Христа на особенно возлюбленных Им землях, ведь мы здесь, в Речи Посполитой, – вернейшие из верных в его стаде, наиболее преданы Ему сердцем....

Епископ Солтык не знает, как теперь перейти непосредственно к делу. Поначалу он собиравшись ограничиться общими словами, никак не ожидая недвусмысленной просьбы прислать рапорт. Да еще от нунция. Солтык удивлен, ведь у нунция повсюду свои шпионы, и хотя сам он свой длинный итальянский нос никуда не сует, но чужими, ревностно ему служащими, пользуется.

Секретарь ждет, занеся над бумагой перо, на кончике которого уже собирается большая капля. Но это человек опытный, хорошо знакомый с повадками чернильных капель, а потому выжидает, чтобы в самый последний момент стряхнуть ее обратно в чернильницу.

Как же это описать, размышляет епископ Солтык, и в голову ему приходят какие-то изящные фразы – вроде «Мир – весьма опасное паломничество для тех, кто тоскует о вечности», при помощи которых можно было бы выразить неловкое и мучительное положение епископа, вынужденного теперь объясняться по поводу своих решений, в общем-то верных, но неприятных, а ведь ему следует обратить все свои помыслы к молитве и духовным нуждам паствы. С чего начать? Может, с того момента, когда обнаружили ребенка, и того, что произошло это под Житомиром, в селе Маркова Волиця, совсем недавно, в этом году.

– Студзинский, верно?

Секретарь кивает и добавляет имя: Стефан. В конце концов мальчика нашли, но мертвым, с синяками и многочисленными ранами, на вид колотыми. В кустах у дороги.

Теперь епископ сосредотачивается. И начинает диктовать:



Ris 76. Mord rytualny

...крестьяне, обнаружив дитя, понесли его в церковь и проходили мимо трактира, где мальчика, вероятно, и замучили. Кровь полилась из левого бока, из наипервейшей раны, по этой причине и вследствие некоторых иных против евреев суспиций немедленно были взяты под стражу в этой деревне два еврея-корчмаря и их жены, которые во всем признались и прочих выдали. Дело, таким образом, возникло само собой, благодарение божественной справедливости.

Меня немедленно обо всем известили, и я не замедлил заняться этим делом со всем усердием и *in crastinum*⁴⁰ приказал управляющим окрестных имений и господам выдать прочих виновных, а когда те проявили нерасторопность, сам отправился в те имения и убеждал ясно-вельможных господ произвести аресты. Так мы задержали тридцать одного мужчину и двух женщин; закованных в кандалы, их привезли в Житомир, где посадили в специально вырытые для этого ямы. После отъезда инквизиторов я отослал обвиняемых в гродский суд⁴¹. Суд, желая раскрыть убийц злодеяния, постановил приступить к изучению *strictissime*⁴² представших перед ним евреев, тем более что некоторые из них меняли свои показания, данные перед консисторским судом, а также опровергали обвинительные показания христиан. Тогда обвиняемых подвергли пыткам, осуществленным руками палача святого правосудия, и трижды истязали огнем. Вскоре из их совместных признаний выяснилось, что Янкель и Эля, арендаторы трактира в Марковой Волице, поддавшись уговорам Шмайера, раввина из Паволочи, якобы

⁴⁰ На завтра (*лат.*).

⁴¹ Судебный орган в Речи Посполитой, представлявший собой поветовый суд для шляхты, мещан и крестьян.

⁴² Тщательнейше (*лат.*).

то дитя схватили, завели в трактир, напоили водкой, а затем раввин ножиком проткнул ему левый бок. Затем они по книгам читали свои молитвы, другие же евреи гвоздями и длинными булавками кололи и из всех жил выдавливали невинную кровь в чашу, после чего раввин оделил ею всех присутствующих, разлив ее по бутылкам.



Ris 61 Konfessaty korporalne

Теперь епископ делает паузу и велит подать венгерского вина, что всегда идет на пользу его кровотворению. Ничего, что натошак. Солтык также чувствует, что завтрак уже грозит превратиться в обед: он проголодался. А потому раздражен. Ничего не поделаешь... Письмо нужно отправить сегодня. И он продолжает диктовать:

Поэтому, когда прокурор по делу несовершеннолетнего Стефана, описывая его *dolenda fata*⁴³, согласно процедуре, подкрепил свой рассказ показаниями под присягой семи свидетелей, что указанные евреи являются причиной смерти ребенка и совершенного над ним кровопролития, суд приговорил их к жестокой смерти.

Семерых побудителей сего преступления и зачинщиков языческой сей жестокости палач должен был от позорного столба на рыночной площади Житомира, со связанными конопляной веревкой и облитыми смолой обеими руками, поджегши их, провести через весь город к виселице. Там с каждого по три ремня со спины содрать, затем четвертовать, головы на кол насадить, части тела развесить. Шестерых приговорили к четвертованию, а одного – в последний момент вместе с женой и детьми перешедшего в католическую веру – осудили на кару более милосердную: ему предстояло быть только обезглавленным. Остальных оправдали. Правонаследники осужденных на смерть должны были выплатить отцу жертвы 1000 польских злотых под угрозой изгнания навеки.

⁴³ Несчастливая судьба (*лат.*).

Из первых семерых: одному удалось сбежать, другой же принял крещение и вместе с приговоренными к обезглавливанию был мною помилован.

В отношении же всех прочих приговор был исполнен по всей справедливости. Трех виновных, закореневших в злобе своей, четверговали, троим же, которые крестились, кару заменили на обезглавливание, и их тела я сам в сопровождении многочисленных ксендзов проводил на католическое кладбище.

На второй день я совершил крещение тринадцати иудеев и иудеек, а для замученного дитяти приказал приготовить *epitupicum*⁴⁴ и священное тело невинного мученика велел со всей торжественностью похоронить в соборе.

*Ista scienda saris*⁴⁵, страшных, однако всемерно необходимых для наказания виновных в столь позорных деяниях. Я верю, что Вы, Ваше Высокопреосвященство, найдете в этих объяснениях все, что хотели узнать, и это уменьшит выраженное в письме Вашем беспокойство, будто мы сотворили нечто противное Католической церкви, Матери Нашей Святой.

Зелик

Тот, что сбежал, попросту спрыгнул с телеги, в которой их, связанных, везли из тюрьмы к месту пыток. Это оказалось несложно, поскольку связали их кое-как. Четырнадцать узников, в том числе две женщины, были обречены и считались уже, в сущности, мертвецами, поэтому никому не пришло в голову, что они могут попытаться бежать. Перед самым Житомиром телега в сопровождении отряда всадников углубилась на милю в лес. Там и скрылся Зелик. Каким-то образом он освободил ладони от пут, дождался подходящего момента и, как только заросли оказались близко, одним прыжком выскочил из телеги и бросился в лес. Остальные заключенные сидели молча, склонив головы, словно торжествуя свою неминуемую смерть, а стража не сразу поняла, что произошло.

Отец Зелика, тот самый, что ссудил Солтыку денег, закрыл глаза и начал молиться. Зелик, когда его нога уже касалась лесной травы, оглянулся и хорошо запомнил эту картину: сгорбленный старик, рядом пожилые супруги – руки их соприкасаются, молодая девушка, двое соседей отца с белыми бородами, выделяющимися на фоне черных пальто, черно-белое пятно талеса. Один отец смотрит на него спокойно, будто все знал с самого начала.

Теперь Зелик бродяжничает. Только по ночам – днем он спит; ложится на рассвете, когда птицы больше всего галдят, и встает в сумерках. Он все идет и идет – избегая дорог, всегда хоронясь на обочине, в зарослях, стараясь избегать открытых участков. А если уж приходится пересекать открытое пространство, выбирает такие места, где растет хотя бы хлеб: еще не все с полей убрано. Во время этого путешествия он почти не ест – изредка яблоки, горькую падалицу, – но голода не ощущает. Зелик все еще дрожит – и от страха, и от возмущения, гнева, у него дрожат руки и ноги, в животе, в кишках все сжимается, поэтому иногда его рвет желчью, и потом он долго с отвращением отплеивается. Было несколько очень светлых ночей из-за полной самодовольной луны. Тогда Зелик видел вдали стаю волков, слышал их вой. За ним наблюдали стада косуль: удивленные, они спокойно провожали его взглядом. Его заметил какой-то старик-бродяга, слепой на один глаз, грязный и лохматый; Зелик жутко испугался, перекрестился и поскорее юркнул в кусты. Издали он видел небольшую группу беглых крестьян, которые вчетвером переправлялись через реку в Турцию, – на его глазах подъехали всадники, схватили их и связали веревками, как скот.

На следующую ночь начался дождь, и луну закрыли тучи. Тогда Зелику удалось перейти реку. Весь следующий день он пытался высушить одежду. Озябший, ослабевший, он все время

⁴⁴ Неологизм епископа – искаженная латынь.

⁴⁵ Хватит уже этих вестей (лат.).

думает об одном и том же. Как же так случилось, что хозяин, чьи счета, связанные с вырубкой леса, он вел, — человек вполне, как ему казалось, сердечный — оказался злодеем? Почему он дал ложные показания в суде? Как могло случиться, что он солгал под присягой, да не о деньгах или делах, а в том, что касается человеческой жизни? Зелик не может этого уразуметь; перед его глазами то и дело встают одни и те же картины: его арестовывают, выволакивают из дома вместе с другими, вместе с отцом, старым и совершенно глухим, не понимающим, что происходит. А потом чудовищная боль, которая завладевает телом и правит разумом; боль, которая является царем этого мира. И еще решетчатая телега, которая везет их из тюрьмы на пытки через город, где люди плюют на них, отупевших и израненных.

Примерно месяц спустя Зелик добрался до Ясс, где отыскиал друзей матери. Они уже знали о случившемся и приняли его; там Зелик некоторое время приходил в себя. Не мог спать, боялся закрыть глаза; во сне, когда он все-таки в него проваливался — словно в трясину, поскользнувшись на глинистом берегу, — видел тело отца, спрятанное где-то в иле, непогребенное, жуткое. По ночам Зелика мучил страх, будто во тьме его поджидает смерть, вот-вот снова сцапает: там, во мраке, ее владения, казармы ее войск. Раз он так просто сбежал от нее, раз она даже оглянуться не успела, как он исчез из толпы тех, кто уже принадлежал ей, она всегда будет иметь на него виды.

Поэтому Зелика уже не остановить. Он отправляется на юг, пешком, точно паломник. По пути стучится в еврейские дома, останавливается на ночь. За ужином рассказывает свою историю; его передают из дома в дом, из города в город, словно хрупкий, нежный товар. Вскоре вести начинают его опережать: люди знают историю юноши, знают, куда он идет, и словно бы поклоняются ему. Каждый помогает как умеет. В Шаббат Зелик отдыхает. Один день в неделю пишет письма — родственникам, в еврейские общины, раввинам, в Ваад четырех стран⁴⁶. Иудеям и христианам. Польскому королю. Папе римскому. Он снашивает множество пар обуви и исписывает не меньше кварталы чернил, прежде чем ему удастся добраться до Рима. И каким-то чудом, словно его оберегают могущественные силы, уже завтра Зелик лично встречается с папой.



⁴⁶ Центральный орган автономного еврейского общинного самоуправления в Речи Посполитой, действовавший с середины XVI до второй половины XVIII в.; состоял из семидесяти делегатов кагалов, представлявших четыре исторические области: Великая Польша, Малая Польша, Червонная Русь и Волинь; первоначально создавался для взаимодействия евреев с королевской властью — здесь обсуждалось количество налогов, взимаемых в пользу государства, позже стал органом самоуправления, местом урегулирования споров между кагалами, согласования общих действий для защиты еврейской автономии.

Ris Podole mapa2

II
Книга Песка



Ris 79. Księga Piasku

5

О том, как из усталости Бога рождается мир

Случается, что Бог устает от своей светозарности и тишины, его мутит от бесконечности. Тогда, словно огромная суперчувствительная устрица, чье тело, столь обнаженное и нежное, ощущает малейшие колебания частиц света, он сокращается внутри себя, высвобождая вокруг пространство, и там из абсолютного ничего мгновенно возникает мир. Сначала мир напоминает плесень, он нежен и бел, но быстро растет, отдельные нити соединяются друг с другом, образуя прочную ткань. Наконец мир затвердевает и начинает обретать цвет. Это сопровождается низким, едва различимым гулом, мрачной вибрацией, которая заставляет атомы беспокойно трепетать. Из этого движения и рождаются частицы, а затем крупинки песка и капли воды, разделяющие мир надвое.

Сейчас мы находимся на стороне песка.

Глазами Енты мы видим низкий горизонт и огромное небо, золотое и оранжевое. Кучевые облака – огромные, пухлые – плывут на запад, еще не догадываясь, что вот-вот рухнут в пропасть. Пустыня красная, и даже самые маленькие камешки отбрасывают отчаянные, длинные тени, пытаюсь уцепиться ими за твердую материю.

Конские и ослиные копыта почти не оставляют следов, скользят по камням, поднимают пыль, которая мгновенно оседает и покрывает каждую новую борозду. Уставшие от дневного марша животные идут медленно, опустив голову, словно в трансе. Их спины уже привыкли к бремени, которое возлагается на них каждое утро, после ночной стоянки. Только ослы ежедневно скандалят, разрывая рассвет полными обиды и изумления воплями. Но сейчас, уповая на скорый отдых, умолкли даже они, прирожденные бунтовщики.

Среди них движутся люди, чьи фигуры кажутся удлинёнными рядом с округлыми, искаженными поклажей силуэтами животных. Словно стрелки часов, освободившиеся от своих циферблатов, они произвольно отмеряют отвлеченное, хаотичное время, уже неподвластное ни одному часовщику. Их тени, длинные и острые, пронзают пустыню и бережат опускающиеся сумерки.

Многие путники одеты в длинные светлые плащи, на головах у них тюрбаны, некогда зеленые, а теперь выцветшие на солнце. Другие прячутся под широкополыми шляпами, и их лица неотличимы от теней, отбрасываемых камнями.

Это караван, который несколько дней назад покинул Смирну и направляется на север, через Константинополь, а затем Бухарест. В пути ему предстоит распасться на части и сливаться. Часть купцов отделится уже через несколько дней, в Стамбуле: через Салоники и Софию они отправятся в Грецию и Македонию; другие задержатся до самого Бухареста, а третьи пойдут до конца, вдоль Прута, до границы с Польшей, и пересекут ее, преодолев мелководный Днестр.

На каждой стоянке приходится разгружать животных и осматривать товары: бережно упакованные, они лежат в повозках. Некоторые очень хрупки, как, например, партия длинных турецких трубок; каждая укутана паклей и дополнительно тщательно завернута в холстину. Еще караван везет некоторое количество турецкого оружия и конскую парадную упряжь, ковры и тканые пояса, которыми шляхта подпоясывает свои жупаны.

Есть и сухофрукты в деревянных ящиках – их заботливо оберегают от солнца, разные материйки и даже лимоны и апельсины, недозревшие, чтобы выдержали долгий путь.

Один армянин, некий Якович, присоединившийся к каравану в последний момент, везет в отдельной повозке предметы роскоши: персидские ковры, турецкие килимы. Теперь он опа-

сается за этот товар, злится из-за любой мелочи. Он собирался было сесть на корабль и в два дня доставить все из Смирны в Салоники, но морская торговля сейчас небезопасна – можно попасть в плен; такого рода истории рассказывают у костра постоянно, на каждой остановке.

Нахман Самуил бен-Леви из Буска уселся и пристроил на колени плоский ящик. Нахман везет табак, плотно утрамбованный в твердые брикеты. Немного, но он рассчитывает на хорошую прибыль, потому что табак купил дешево и хорошего качества. Еще у него имеются – в специально сшитых карманах – другие мелкие, но ценные вещи: красивые камни, главным образом бирюза, и несколько длинных, сильно спрессованных палочек опиума, который добавляют в курительные трубки и который так нравится Мордехаю.

Караван снаряжали несколько дней, а ведь еще пришлось побегать по турецким вedomствам, чтобы за основательный бакшиш получить ферман – приказ турецким властям пропустить караван.

Поэтому Нахман так устал, и превозмочь эту усталость нелегко. Лучше всего помогает посмотреть на каменистую пустыню. Нахман выходит за пределы лагеря, прочь от людской болтовни, садится. Солнце уже так низко, что камни отбрасывают вперед длинные темные тени, напоминающие земные кометы, которые, в отличие от небесных, сделаны не из света, а из тени. И Нахман, который повсюду видит знаки, задается вопросом: какое же будущее предвещают эти земные тела, какое предзнаменование несут. А поскольку пустыня – единственное место на свете, где время поворачивает вспять, петляет и устремляется вперед, точно жирная саранча, иные глаза способны в этот момент заглянуть в грядущее. Именно таким предстает Нахман взгляду Енты: стариком, высохшим, как щепка, спина сгорблена. Он сидит у маленького окошка, в которое проникает совсем мало света, от толстых стен тянет холодом. Рука, сжимающая перо, заметно дрожит. В маленьких песочных часах, стоящих рядом с чернильницей, просыпаются вниз последние песчинки: конец близок, но Нахман продолжает писать.

По правде говоря, Нахман просто не может удержаться. Это подобно зуду, утихающему лишь тогда, когда из хаоса мыслей он начинает выстраивать предложения. Поскрипывание пера успокаивает. След, который оно оставляет на листе бумаги, доставляет такое наслаждение, как если бы Нахман лакомился самыми сладкими финиками, как если бы положил в рот рахат-лукум. Все становится на свои места, проясняется и упорядочивается. Потому что Нахману всегда казалось, будто он участвует в каком-то великом, неповторимом и уникальном процессе. Какого никогда больше не будет и никогда раньше не было. И еще: что все это он записывает для тех, кто еще не родился, потому что они захотят узнать.

У него всегда с собой письменные принадлежности: этот плоский ящик, деревянный, с виду неказистый, но внутри бумага хорошего качества, бутылка с чернилами, песок в герметичной шкатулке, запас перьев и нож для их заточки. Нахману много не нужно, он садится на землю, раскладывает ящик, превращая его в низкий турецкий столик, – и вот уже готов писать.

Однако с тех пор, как Нахман сопровождает Якова, он все чаще встречается его недовольный, укоризненный взгляд. Якову не по душе поскрипывание пера. Однажды он заглянул Нахману через плечо. Хорошо, что тот как раз занимался счетами. Яков потребовал, чтобы Нахман не записывал его слова. Пришлось пообещать, что он больше не станет этого делать. Но Нахмана до сих пор мучает этот вопрос: почему?

– В чем тут дело? – спросил он однажды Якова. – Ведь мы поем: «Дай мне речь, дай мне язык и слова, чтобы я мог сказать правду о Тебе». А ведь это из «Хемдат Ямим»⁴⁷.

Яков отругал его:

– Не будь дураком. Если кто-то хочет завоевать крепость, он не может сделать это при помощи простой болтовни, призрачного слова, ему придется повести туда армию. Вот и нам следует действовать, а не говорить. Мало наши деды разглагольствовали, над книгами корпели?

⁴⁷ «Услада дней» – анонимное сочинение (Константинополь, 1735) на тему нравственности.

Что из этого вышло, очень им помогли эти словеса? Лучше видеть глазами, чем говорить словами. Умники нам ни к чему. Увижу, что ты пишешь, дам по башке, чтоб протрезвел.

Однако Нахман себе на уме. Главный его труд – «Житие Пресвятого Шабтая Цви»⁴⁸ (да будет благословенно его имя!). Он записывает порядка ради, просто собирает факты, известные и не очень; некоторые расцвечивает, но это ведь не грех, а скорее достоинство – так они лучше запоминаются. Однако внизу, на дне ящика, имеется у Нахмана еще один сверток – листочки, которые он собственноручно сшил толстой дратвой. «Поскрёбки». Их он пишет тайно. Время от времени прерывает работу: его терзает мысль о том, что тот, кто станет это читать, должен знать, кто это написал. За буквами всегда стоит чья-то рука, из-за фраз выглядывает чье-то лицо. Ведь и за страницами Торы сразу ощущается чье-то присутствие, великое, чье подлинное имя нельзя записать никакими буквами, даже позолоченными, даже жирным шрифтом. Однако и Тора, и весь мир состоят из имен Бога. Каждое слово – Его имя, каждая вещь. Тора соткана из имен Бога, словно огромная ткань Арига, хотя, как написано в Книге Иова: «Ни один смертный не ведает ее порядка». Никто не знает, где основа и где утёк, какой узор виден на правой стороне и как он соотносится с рисунком на левой.

Рабби Елеазар, очень мудрый каббалист, давным-давно догадался, что части Торы были переданы нам в неправильной последовательности. Ибо будь они расположены как должно, всякий, познав их очередность, немедленно обретал бы бессмертие и мог сам воскрешать мертвых и творить чудеса. Поэтому – чтобы сохранить порядок в мире – фрагменты были перемешаны. Не спрашивайте, кто это сделал. Еще не время. Только Святой сумеет расположить их в верной последовательности.

⁴⁸ Шабтай Цви (Саббатай Цви; 1626–1676) – каббалист, один из самых известных еврейских лжемессий; лидер массового движения XVII в., охватившего многие еврейские общины и названного в его честь саббатрианством еретического направления иудаизма.

אלהים ויבקר
 אלהים את בך
 הדברים : חאלה
 לאמר אנכי
 נחמה אלהיך אשר
 חזן אתך מארץ
 מצרים מבית עפרים
 לאיתתך אלהים
 אחרים על פני לא
 תעשה לך פסל
 וכל תמונה אשר
 בשמים ממעל או אשר
 בארץ מתחת ואשר
 במים כמתחת לארץ
 לא תשתחוה להם

Ris Penteteuch

Нахман видит, как из-за его «Жития Пресвятого Шабтая Цви», из стопки листочков, сшитых дратвой, выглядывает он сам, Нахман Самуил бен-Леви из Буска. Он видит себя со стороны: щедушный, невысокого роста, невзрачный, вечный странник. И записывает самого себя. Назвал Нахман эти записки поскрёбками, стружками, оставшимися от других, более важных произведений. Крошки – вот что такое наша жизнь. То, что он пишет на крышке ящика,

поставленного на колени, в дорожной пыли и неустроенности, – по сути, тиккун⁴⁹, исправление мира, штопанье прорех в ткани, что вся состоит из накладывающихся друг на друга узоров, завитков, переплетений и полосок. Именно так следует понимать это странное занятие. Одни лечат людей, другие строят дома, третьи изучают книги и переставляют слова в поисках их истинного смысла. А Нахман пишет.

ПОСКРЁБКИ, ИЛИ О ТОМ, КАК ДОРОЖНЫЕ ТЯГОТЫ ПОРОЖДАЮТ ИСТОРИЮ. НАПИСАНО НАХМАНОМ САМУИЛОМ БЕН-ЛЕВИ, РАВВИНОМ ИЗ БУСКА

О ТОМ, ОТКУДА Я ВЗЯЛСЯ

Я знаю, что никакой я не пророк и Святой Дух во мне отсутствует. У меня нет власти над голосами, я не умею прозревать будущее. Происхождения убогого, и ничто не поднимет меня из праха. Я подобен многим и принадлежу к числу тех, чьи мацевы рассыпаются первыми. Но знаю я и свои достоинства: мне по силам торговля и путешествия, я быстро считаю и обладаю способностями к языкам. Я идеальный посыльный.

Когда я был ребенком, моя речь напоминала дождь, барабанный по деревянной крыше обветшалой хижины, грохот, стрекотание, в котором терялись слова. Вдобавок какая-то сила внутри меня не давала закончить начатое предложение или слово, заставляла повторять его несколько раз, поспешно, почти бездумно. Я заикался. В отчаянии я видел, что родители, братья и сестры меня не понимают. Отец отвечивал мне затрещину и шипел: «Говори медленнее!» Пришлось попробовать. Я научился как бы выходить за пределы самого себя и хватать себя за горло, чтобы остановить этот грохот. В конце концов мне удалось научиться разбивать слова на слоги и разбавлять их, точно суп – как делала моя мама со вчерашним борщом, чтобы всем хватило. Но зато я был смышленным. Из вежливости я ждал, пока другие закончат, но заранее знал, что они хотят сказать.

Мой отец был раввином в Буске, как со временем стал и я, хоть и ненадолго. Они с матерью держали корчму у самых болот, клиентов было не слишком много, поэтому жили мы бедно. Наша семья, как по материнской, так и по отцовской линии, перебралась на Подолье с запада – из Люблина, куда предки, чудом уцелевшие и изгнанные с насиженных мест, пришли, в свою очередь, с немецких земель. Однако о тех временах рассказывали мало, я запомнил, пожалуй, только одну историю – одну из двух, которые вызывали во мне детский ужас, – о поглощающем книги пожаре.

Но из детских лет я мало что помню. Главным образом мать, от которой я не отходил ни на шаг, упорно цепляясь за ее юбку, из-за чего отец сердился и говорил, что я останусь маменькиным сынком, фейгеле, изнеженным слабаком. Помню нашествие комаров – мне было года три или четыре: все щели и отверстия в домах позатыкали тогда тряпками и глиной, а наши тела, руки и лица покраснели от укусов, будто началась эпидемия оспы. Маленькие ранки мазали растертыми листьями шалфея, а по деревням ходили торговцы, продававшие чудодейственную вонючую жидкость, которую добывали из-под земли где-то в окрестностях Дрогобыча...

⁴⁹ Понятие в каббале – процесс исправления мира, потерявшего свою гармонию; главным исполнителем служит Мессия, а инструментом – божественный свет; главное средство осуществления тиккун человеком заключается в приобщении его к святости через Тору и молитву, каждое деяние человека воздействует на внутреннюю структуру миров, и это влияние тем значительнее, чем осознаннее поступает человек.

Так начинается не очень аккуратная рукопись Нахмана – автор сам любит перечитывать ее первые страницы. В эти минуты ему кажется, что он более уверенно ступает по земле, что подошвы у него вдруг стали больше. Теперь он возвращается в лагерь, потому что проголодался, и присоединяется к своим спутникам. Турецкие проводники и носильщики только что вернулись с молитвы и дурачатся перед ужином. Армяне перед едой закрывают глаза и правой рукой размашисто осеняют тело крестным знаменем. Нахман и другие евреи молятся коротко и поспешно. Они голодны. С настоящей молитвой придется подождать до возвращения домой. Путешественники рассаживаются группами, на некотором расстоянии друг от друга, каждый при своем товаре, рядом со своим мулом, но так, чтобы держать друг друга в поле зрения. Утолив первый голод, начинают переговариваться, а потом и перешучиваться. Ночь наступает сразу, мгновенно опускается темнота, и приходится зажигать масляные лампы.

Однажды в нашей корчме, которой занималась главным образом мать, остановился один из гостей, приглашенных паном Яблоновским на охоту. Человек этот был известным пьяницей и извергом. Поскольку было жарко и душно и испарения с болот низко стояли над землей, какой-то княгине срочно потребовался отдых. Нас всех вытолкали на улицу, но я спрятался за печкой и с большим волнением наблюдал, как красивая дама с лакеями, фрейлинами и камердинерами входит в дом. Великолепие их, вся эта роскошь, краски, узоры произвели на меня такое впечатление, что я залился краской, и мать потом опасалась за мое здоровье. Когда господа уехали, мать прошептала мне на ухо: «Глупенький, на том свете она будет у нас дуксель в пескурэ разжигать», то есть в следующей жизни княгиня станет топить нам печи.

С одной стороны, меня очень порадовало, что где-то там наверху, где ежедневно конструируется будущее мира, царит строгая справедливость. С другой – мне было жаль всех нас, и особенно эту гордую даму, такую красивую и недоступную. Знает ли она об этом? Предупредил ли ее кто-нибудь? Говорят ли им в костеле, как все случится на самом деле? Что все перевернется с ног на голову, слуги станут господами, а господа – слугами? Но получится ли в результате справедливо и хорошо?

Уходя, тот господин дернул моего отца за бороду – эта выходка ужасно развеселила гостей, – а затем велел своим солдатам выпить еврейской водки; они поспешили выполнить приказ, разграбив при этом корчму и невесть зачем перепортив все вещи.

Придется встать. Как только солнце садится, делается очень холодно, не так, как в городе, где жара, которую хранят нагретые стены, по вечерам не уступает: рубашка продолжает липнуть к спине. Нахман берет лампу и накидывает на плечи бомбазиновый плащ. Носильщики играют в кости, того и гляди вспыхнет ссора. Небо уже все усеяно звездами, и Нахман машинально определяет стороны света. На юге видит Смирну – Измир, как говорит реб Мордке, – которую они покинули позавчера. Город представляет собой хаотичное скопище разномастных приземистых домиков, бесконечное множество крыш, перемежаемых стрельчатыми силуэтами минаретов и – кое-где – куполами церквей. В темноте Нахману чудится на горизонте голос муэдзина, настойчивый, жалобный, и кажется, что вот-вот ему ответит другой, из каравана, и воздух мгновенно наполнится мусульманской молитвой, задуманной как гимн и похвала, но больше напоминающей стенания.

Нахман глядит на север и там, далеко-далеко, в складках туманной темноты, видит маленький городок, раскинувшийся у самых болот, под низким небом, задевающим шпиль колокольни. Он кажется совершенно бесцветным, словно сделан из торфа и присыпан золой.

Когда я родился – в 5481 году, а по христианскому календарю – в 1721-м, мой отец, новоиспеченный раввин, занял свою должность, еще не понимая, куда попал.

В Буске река Буг сливается с рекой Полтвой. Город всегда принадлежал королю, а не помещикам, поэтому нам здесь жилось хорошо; вероятно, также поэтому Буск постоянно громили – то казаки, то турки. Если небо есть зеркало, отражающее время, то образ пылающих домов и по сей день висит над городом. После, полностью разрушенный, его всякий раз отстра-

ивали, хаотично, во всех направлениях, на болоте, поскольку правит здесь вода, единственная королева. Когда наступала весенняя распутица, это болото выползало на дороги и отрезало городок от остального мира, а его обитатели, как и подобает жителям торфяных болот и топей, сидели в своих отсыревших избах, мрачные и тусклые – будто покрывшиеся плесенью.

Евреи жили здесь небольшими группами во многих районах, но больше всего их было в Старом городе и в Липибоках. Они торговали лошадьми, которых водили из города в город на ярмарки, держали небольшие табачные лавки, большей частью – размером с собачью конуру. Некоторые занимались земледелием, было еще несколько сотен ремесленников. Главным образом бедняки, жалкие и суеверные.

На окружавших нас крестьян – русинов и поляков, которые на рассвете склонялись к земле, а разгибали спины лишь под вечер, когда усаживались на лавочки перед домом, – мы смотрели с чувством некоторого превосходства: уж лучше быть евреем, чем крестьянином. Они тоже наблюдали за нами: куда эти еврейчики снова едут на своих телегах и почему от них вечно столько шума? Женщины щурили глаза, ослепленные солнцем за целый день сбора колосьев, которые остались после жатвы.

Весной, когда начинали зеленеть прибрежные луга, в Буск слетались сотни, а может, и тысячи аистов и расхаживали царственно, держась прямо и горделиво. Наверное, поэтому здесь рождалось столько детей: крестьяне считали, что их приносят аисты.

На гербе Буска изображен аист, стоящий на одной ноге. Вот и мы, жители этого города, вечно стояли на одной ноге, в любой момент готовые пуститься в путь, зацепившиеся за жизнь одним договором об аренде, одним контрактом. Вокруг – сыро, топко. Закон вроде есть, но шаткий, мутный, точно грязная вода.

Буск, как и многие городки и деревни на Подолье, был почти полностью населен нами – теми, кто сам себя называл «наши» или «правоверные». Мы искренне и глубоко верили в то, что Мессия уже явился в Турции и, уходя, оставил нам преемника, а главное – указал путь, которым следует идти.

Чем больше мой отец читал и спорил в бейт-мидраше, тем больше сам склонялся к подобной точке зрения. Через год после переезда, начитавшись саббатских книг, он полностью поверил им, а его природная восприимчивость и религиозное чутье лишь способствовали этой метаморфозе.

– Отчего это всё? – говорил отец. – Почему, если Бог так возлюбил нас, вокруг столько страдания? Выйди на рыночную площадь в Буске – ноги подкашиваются под бременем этой боли. Если он возлюбил нас, почему мы не здоровы и не сыты, а вместе с нами и другие, чтобы нам не приходилось смотреть на болезни и смерть? – Отец сутулился, словно желая наглядно продемонстрировать это бремя. А после принимался, по своему обыкновению, ворчать на раввинов и их законы, все больше распаляясь и размахивая руками.

В детстве я часто видел его на рыночной площади, перед магазином Шили: отец стоял вместе с другими, говорливый, негодующий. Разглагольствовал он пылко и от души, и от этого его щуплая, неказистая фигурка, казалось, делалась больше.

«Из одного закона Торы Мишна вывела дюжину, а Гемара – пять дюжин; в последующих же комментариях законов – что песка морского. Вот и скажите мне, как жить?» – драматически восклицал отец, так что даже прохожие останавливались.

Шили, который не слишком пекся о торговле и больше интересовался обществом словоохотливых мужчин, печально поддакивал, угощая их трубкой:

«Скоро ничто уже не будет кошерным».

«Трудно соблюдать Закон, когда ты голоден», – соглашались те и вздыхали. Вздохи тоже были обязательной частью беседы. Участие в ней принимали главным образом простые торговцы, но иногда приходили учителя из иешивы и вносили в ежедневные причитания на площади что-то свое. К этому прибавлялись жалобы на господские порядки, неприязнь крестьян,

нередко отравлявшую евреям жизнь, сетования по поводу цен на муку, погоды, сорванного наводнением моста и подгнившего от сырости урожая фруктов.

Так и я с самого детства пропитывался этим вечным недовольством по поводу мироздания. Что-то здесь не так, нас окружает какая-то ложь. Видимо, о чем-то умалчивали те, кто учил нас в иешивах. Наверняка от нас утаили какие-то факты, поэтому мы никак не можем собрать мир воедино. Должна быть тайна, которая объяснит все.

Со времен отцовской юности все в Буске так говорили, и имя Шабтая Цви произносилось часто и отнюдь не шепотом, а вполне открыто. В моих детских ушах оно звучало словно галоп всадников, скачущих на помощь. Однако сегодня лучше не называть это имя вслух.

МОЯ МОЛОДОСТЬ

Как и многие мальчики моего возраста, я с детства мечтал изучать священные книги, но, будучи единственным ребенком, был слишком привязан к отцу с матерью. Лишь когда мне исполнилось шестнадцать, я понял, что хочу служить какому-нибудь благородному делу и что я один из тех, кто никогда не довольствуется тем, что есть, но всегда устремляется к чему-то еще.

Поэтому, когда до меня дошли слухи о великом учителе Баал-Шем-Тове⁵⁰ и о том, что он принимает учеников, я решил присоединиться к ним и покинул родной Буск. К отчаянию матери, я в одиночку направился в Мендзыбоже – около двухсот миль на восток. В первый же день я встретил мальчика чуть постарше, который с той же целью покинул Глинно и шел уже третий день. Этот Лейбек, молодожен, у которого еще только начали пробиваться усы, напуганный собственным браком, убедил жену и ее родителей, что прежде, чем он начнет зарабатывать деньги, ему следует прикоснуться к подлинной святости и насытиться ею на будущее. Лейбек происходил из уважаемого рода глиненских раввинов, и то, что он прибил к хасидам, стало для его родных серьезным ударом. За ним дважды приезжал отец, умолял вернуться домой.

Вскоре мы сделались неразлучны. Спали под одним одеялом и делились каждым куском хлеба. Мне нравилось разговаривать с Лейбеком, он был мальчиком очень восприимчивым и мыслил иначе, чем остальные. Ночью мы переносили наши дискуссии под грязное одеяло и там обсуждали великие тайны.

Именно Лейбек, будучи человеком женатым, просветил меня насчет отношений между женщиной и мужчиной, что в то время показалось мне не менее захватывающим, чем проблема цимцум⁵¹.

Дом был большой, деревянный, приземистый. Мы, тощие мальчишки, спали вповалку на кровати, занимавшей всю комнату, прижавшись друг к другу, под одеялами, в которых нередко обнаруживались вши; искусанные ноги мы потом мазали кашицей из листьев мяты. Ели мало: хлеб, оливковое масло, немного репы. Иногда женщины приносили нам какие-нибудь лакомства – например, изюм, но мальчиков было так много, что каждому доставалось всего несколько штучек, ровно столько, чтобы не забыть, каков он на вкус. Зато мы много читали – в сущности, постоянно, поэтому глаза у нас вечно были красными, как у кроликов, – по ним нас можно было легко узнать. А вечером, когда у Бешта находилась для нас толика священного времени, мы слушали его самого и его беседы с другими цадиками. Именно тогда меня заинтересовали проблемы, которые отец не умел убедительно разъяснить. Как может

⁵⁰ Израэль Баал-Шем-Тов (Бешт) (1698–1760) – основатель хасидского движения в иудаизме, раввин.

⁵¹ Самосокращение, самоограничение или самоопределение Божества; в каббале процесс сжатия бесконечного Бога, в результате которого образуется пустое пространство; цимцум как бы освобождает место для последующего творения, создавая пространство без Бога.

существовать мир, если Бог повсюду? Если Бог – это всё во всём, то как могут существовать вещи, которые не являются Богом? Как Бог мог создать мир из ничего?

Известно, что в каждом поколении есть тридцать шесть святых мужей и посредством их Бог поддерживает существование мира. Вне всяких сомнений, Баал-Шем-Тов был одним из них. Хотя большинство святых остаются неузнанными и живут бедными трактирщиками или сапожниками, Бешт являлся личностью столь выдающейся, что скрыть это было никак невозможно. В этом человеке напрочь отсутствовала гордыня, но где бы он ни появлялся, все робели, что крайне его тяготило. Мы видели, что он несет свою святость словно тяжелое бремя. Бешт ничем не напоминал моего отца, вечно раздосадованного или разгневанного. Бешт весь переливался разными оттенками. То принимал обличье старого мудреца, говорил, прикрыв глаза, то вдруг на него что-то находило – и он дурачился вместе с нами, шутил и смешил. Он всегда готов был сделать что-нибудь неожиданное, ошарашить. Этим Бешт располагал к себе и уже не отпускал. Он был для нас центром мира.

Здесь никого не привлекал мертвый и выхоленный раввинизм, тут все были солидарны, и в этом смысле моему отцу у Бешта понравилось бы. Зоар читали ежедневно и с большим волнением, среди старейшин было немало каббалистов с затуманенным взором, постоянно обсуждавших между собой божественные секреты – так, словно речь шла о хозяйстве: сколько у кого кур, хватит ли сена на зиму...

Однажды такой каббалист спросил Бешта, считает ли он, что мир является эманацией Бога, и тот радостно согласился: «О да, весь мир – Бог». Все удовлетворенно закивали. «А как насчет зла?» – хитро и ехидно поинтересовался тот. «И зло – Бог», – спокойно ответил жизнерадостный Бешт, но теперь среди присутствующих пронесся ропот, и тут же раздались голоса других ученых цадиков и всяких святых мужей. А дискуссии тут всегда проходили бурно: спорщики швыряли стулья, разражались плачем, кричали, рвали на себе волосы. Я много раз оказывался свидетелем обсуждения этой проблемы. У меня самого все вскипало внутри: ведь как же так? Всё то, что мы видим: как с этим быть? В какую рубрику вписать голод и телесные язвы, резню животных, гибель детей от эпидемий? Мне всегда казалось, что, если продолжать думать в подобном духе, непременно придешь к выводу, что Богу на всех нас наплевать.

Достаточно было кому-нибудь бросить, что зло плохо не само по себе, а лишь представляется таковым человеку, как начинался скандал, и вот уже из разбитого кувшина лилась вода, впитываясь в опилки на полу, кто-то в гневе выбегал на улицу, кого-то приходилось удерживать, потому что он кидался на окружающих с кулаками. Такой силой обладает произнесенное слово.

Поэтому Бешт твердил нам: «Тайна зла – единственная, которую Бог велит нам не принимать на веру, но размышлять над ней». И я размышлял целыми днями и ночами – потому что иногда мое тело, по-прежнему требовавшее пищи и терзаемое голодом, не давало уснуть. Я подумал, что, может, Бог осознал свою ошибку, понял, что ждет от человека невозможного – безгрешности. Итак, у Бога был выбор: он мог карать за грехи, карать неустанно и превратиться в вечного управляющего, вроде тех, что лупят крестьян по спине, когда они недостаточно усердно трудятся на господских полях. Или мог быть Богом бесконечно мудрым, готовым принять человеческую греховность, оставить место для человеческой слабости. Бог сказал себе: человек не может быть одновременно свободен и полностью мне подчинен. У меня не может быть безгрешного создания, являющегося при этом человеком. Лучше грешное человечество, чем мир без людей.

О да, мы все с этим соглашались. Худосочные мальчишки в драных лапсердаках, с вечно торчащими из слишком коротких рукавов руками сидели по одну сторону стола. По другую – учителя.

Я провел с Бештом и его праведниками несколько месяцев и, несмотря на нищету и холод, чувствовал, что лишь теперь моя душа догоняет мое тело – выросшее, возмужавшее.

Ноги покрылись волосами, грудь тоже, живот окреп. А теперь и душа спешила вслед за телом и крепла. Вдобавок мне казалось, что у меня развивается новый орган чувств, о существовании которого я прежде не подозревал.

Есть люди, обладающие чувством потустороннего, как другие – обостренным обонянием, слухом или вкусом. Они ощущают едва заметные процессы в огромном и сложном теле мира. Более того, у некоторых из них это внутреннее видение настолько обострено, что они могут видеть, где упала искра, видят ее свечение в самом неожиданном месте. Чем хуже место, тем отчаяннее сверкает искра, тем сильнее пламенеет, а свет ее более горяч и чист.

Но есть и те, кто лишен этого чутья, поэтому им приходится доверять остальным пяти органам чувств: к этим ощущениям они и сводят весь мир. Подобно тому, как слепорожденный не знает, что такое свет, а глухой – что такое музыка, как лишенный обоняния не понимает, что такое запах цветов, так и они не понимают эти мистические души и принимают одаренных ими людей за сумасшедших, бесноватых, которые все это выдумали неведь зачем.

В тот год ученики Бешта (да будет благословенно его имя) страдали от загадочной болезни, о которой сам он говорил с печалью и тревогой, а я не знал, что он имеет в виду.

Однажды во время молитвы один из старших мальчиков расплакался, и его никак не удавалось успокоить. Мальчика привели к праведнику, и там несчастный, рыдая, признался, что, читая «Шма, Израэль»⁵², вообразил Христа и к нему обратил эти слова. Когда он рассказывал, все, кто слышал эти ужасные слова, затыкали уши и закрывали глаза, чтобы не позволить своим органам чувств соприкоснуться с подобным кощунством. Бешт лишь печально покачал головой, а потом объяснил это очень просто, настолько, что все испытали огромное облегчение: мальчик каждый день проходил мимо христианской часовенки и там видел Христа. А когда человек долго на что-либо смотрит или часто сталкивается с какой-либо картиной, она проникает в глаза и разум, въедается в них, словно щелочь. А поскольку человеческий разум нуждается в святости, то ищет ее повсюду, точно растущее в пещере растение, тянущееся к любому, даже самому тусклому, свету. Отличное объяснение.

У нас с Лейбеком была тайная страсть: мы вслушивались в само звучание слов, в шорох молитв, доносящийся из-за перегородки, и настраивали свои уши на те слова, которые, сливаясь в одно при быстром произнесении, смешивали друг с другом свои смыслы. И чем более странным оказывался результат наших игр, тем больше мы радовались.

В Мендзыбоже все, подобно нам, были нацелены на слова, поэтому и само местечко казалось каким-то нескладным, случайным и сиюминутным, как будто при соприкосновении со словом материя поджимала хвост и смущенно съеживалась: грязная, разьеженная телегами дорога, казалось, вела в никуда, а маленькие хибарки по ее сторонам и бейт-мидраш – единственный дом, имевший широкое деревянное крыльцо из прогнившего и почерневшего дерева, которое мы ковыряли пальцами, – напоминали сон. Могу сказать, что точно так же мы расковыривали слова, заглядывая через получившиеся дырки в их бездонное нутро. Мое первое озарение касалось сходства двух слов.

А именно: чтобы создать мир, Богу пришлось сделать шаг назад внутри самого себя, высвободить в своем теле немного места – пространство для мира. Из этого пространства Бог исчез. Слово «исчезнуть» происходит от корня «эле́м», а место исчезновения называется «о́лам» – «мир». Так что в самом имени мира заключена история исчезновения Бога. Мир мог возникнуть лишь потому, что Бог оставил его. Сначала было нечто, а потом оно исчезло. Это и есть мир. Мир есть отсутствие.

⁵² «Слушай, Израиль» – важнейшая еврейская молитва, заповеданная непосредственно Торой.



Ris 90.Krag hebrajski

О КАРАВАНЕ И КАК Я НАШЕЛ РЕБ МОРДКЕ

Когда я вернулся, меня, чтобы удержать дома, женили на шестнадцатилетней Лии, мудрой, доверчивой и понимающей девушке. Это не слишком помогло: я стал работать у Элиши Шора и под этим предлогом отправился в торговую поездку в Прагу и Брно.

И здесь встретил Мордехая бен-Элиаша Маргалита, которого все называли реб Мордке – да будет благословенно имя этого доброго человека. Он стал для меня вторым Бештом, но при этом был единственным на свете, поскольку принадлежал только мне; вероятно, реб Мордке испытывал подобные чувства и воспринимал меня как своего ученика. Не знаю, что меня в нем так привлекало – видимо, правы те, кто утверждает, будто души узнают друг друга моментально и начинают непостижимым образом тянуться друг к другу. По правде говоря, я бросил Шоров и, позабыв о семье, которую покинул на Подолье, решил остаться с реб Мордке.

Он был учеником знаменитого мудреца Йонатана Эйбешюца⁵³, а тот, в свою очередь, являлся наследником древнейшего учения.

Поначалу я находил его теории запутанными. Мне казалось, что он пребывает в некоем перманентном воодушевлении, не позволяющем сделать глубокий вдох, словно реб Мордке опасался дышать земным воздухом; лишь пройдя сквозь курительную трубку, тот мог служить хоть какой-то опорой в жизни.

Однако разум мудреца непостижим. В нашем путешествии я полностью положился на него; реб Мордке всегда знал, когда следует отправляться в путь и какую дорогу выбрать, чтобы нам выпала удача – подвезли добрые люди или накормили какие-нибудь паломники. На первый взгляд предложения казались абсурдными, но, послушавшись реб Мордке, мы всегда оказывались в выигрыше.

По ночам мы вместе учились, а днем я работал. Не один рассвет я встретил за книгами, а глаза воспалились от постоянного напряжения. Тексты, которые давал мне читать Мордехай, были столь невероятны, что мой до той поры практический ум молодого человека с Подолья брыкался, точно конь, который раньше ходил на мельнице по кругу, а теперь из него решили сделать скакуна.

«Сын мой, отчего ты отвергаешь то, чего еще не испробовал?» – спросил Мордехай, когда я уже действительно был полон решимости вернуться в Буск и начать заботиться о своей семье.

И я сказал себе очень мудрые, как мне тогда казалось, слова: он прав. Здесь я не проиграю, здесь я могу только выиграть. Так что стану терпеливо ждать, пока не найду для себя что-то хорошее.

И я сдался, снял небольшую комнату за деревянной перегородкой и жил скромно, первую половину дня проводя на службе в конторе, а вечера и ночи посвящая учебе.

Реб Мордке научил меня методам перестановок и комбинаций букв, а также мистике чисел и другим «путям Сефер Йецира»⁵⁴. По каждому из этих путей он заставлял идти в течение двух недель, пока данная форма не запечатлевалась в моем сердце. Так он вел меня четыре месяца, а потом внезапно велел мне «всё стереть».

В тот вечер Мордехай обильно набил мою трубку травами и прочитал древнюю молитву – никто уже не знает чью, – которая вскоре стала моим собственным голосом. Звучала она так:

Моя душа
не позволит заключить себя в тюрьму,
в клетку из железа или клетку из воздуха.
Моя душа желает быть подобной небесному кораблю,
который вырвется за границы тела.
И никакие стены не в силах ее удержать:
ни возведенные руками человеческими,
ни стены любезности,
ни стены воспитания
или приличий.
Не подхватят ее шумные речи,
не остановят границы царств,
она равнодушна к высокому происхождению.
Душа пролетает над всем этим

⁵³ Йонатан Эйбешюц (1690–1764) – раввин, каббалист и знаток Талмуда, ректор пражской иешивы и известный проповедник.

⁵⁴ Книга Творения, один из основополагающих текстов в каббале, учение мистического характера о сотворении мира, времени и души человека посредством 22 букв еврейского алфавита и десяти Сфирот – скрытых «путей» (сверхидей, божественных мыслей, неотъемлемых составляющих самой сути Бога).

легче легкого,
она выше того, что заключено в словах,
и вне того, что в слова не уместается.
Она – за пределами блаженства и за пределами страха.
Она превосходит и то, что прекрасно и возвышенно,
и то, что мерзко и ужасно.

Помоги мне, милостивый Господь, и сделай так, чтобы жизнь не ранила меня.
Дай мне умение говорить, дай мне язык и слова,
и тогда я скажу правду
о Тебе.

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПОДОЛЬЕ И СТРАННОЕ ВИДЕНИЕ

Спустя некоторое время я вернулся на Подолье, где после скоропостижной смерти отца был назначен раввином Буска. Лия приняла меня, и я отвечал ей огромной нежностью. Она сумела устроить нам вполне благополучное и спокойное существование. Мой маленький сын Арон рос и мужал. Занятый работой и семьей, я гнал прочь тревожный дух путешествий и всяческую каббалу. Община была большой и делилась на «наших» и «тех», так что мне, молодому и неопытному раввину, хватало забот и обязанностей.

Однако однажды зимней ночью я не мог уснуть и чувствовал себя очень странно. Я испытывал пронзительное ощущение, будто все вокруг меня ненастоящее, все искусственное, как если бы умелый художник нарисовал мир на холстах и развесил вокруг. Или, другими словами, словно все вокруг вымыслено и каким-то образом обрело иллюзорную форму.

Ранее, во время занятий с реб Мордке, это мучительное и пугающее чувство уже появлялось несколько раз, но сейчас оно было настолько острым, что я испугался, как дитя. Я почувствовал себя так, будто меня внезапно лишили свободы и бросили в душную темницу.

Весь дрожа, я встал, подбросил дров в печь, положил на стол книги, которые мне дал реб Мордке, и, вспомнив, чему он меня учил, принялся соединять буквы и медитировать над ними, используя философский метод моего учителя. Я думал, что это займет мой разум и развеет тревогу. Так я провел время до утра, а потом занялся повседневными делами. На следующую ночь все повторилось, и я просидел до трех часов утра. Лию тревожило мое состояние, она тоже вставала, осторожно высвободившись из сонных объятий сынишки, и смотрела через плечо, что я делаю. Всякий раз я видел на ее лице неодобрение, но это не могло меня остановить. Лия была очень набожна, не признавала каббалу и с подозрением относилась к саббатанским ритуалам.

В эту странную третью ночь я уже устал настолько, что после полуночи немного вздремнул с пером в руке и бумагой на коленях. Очнувшись, увидел, что свеча гаснет, и встал, чтобы взять новую. Однако обнаружил, что в комнате по-прежнему светло, хотя свеча потухла! Тогда я с изумлением осознал, что это я свечусь, от меня исходит наполняющее комнату сияние. Я сказал вслух самому себе: «Не верю», но свет не гас. Поэтому я спросил: «Как такое возможно?» – однако ответа, конечно же, не получил. Еще я ударил себя по лицу и ущипнул за щеку, но ничего не изменилось. Я просидел до утра, уронив руки, усталый, с пустой головой, – и светился! Наконец на рассвете свет померк, а потом исчез вовсе.

И в ту ночь я увидел мир совсем другим, чем прежде, – освещенным пепельным солнцем, маленьким, бедным, ущербным. Тьма зарождалась в каждом уголке и каждом закоулке. Этот мир был охвачен войнами и эпидемиями, в нем выходили из берегов реки и содрогалась земля. Всякий человек казался таким хрупким существом, что напоминал крошечную ресничку на веке, пылцу на цветке. Тогда я понял, что человеческая жизнь состоит из страданий, что это

и есть субстанция мира. Все кричало от боли. А потом еще я увидел будущее: мир менялся, леса исчезали, на их месте вырастали города, происходили другие непонятные для меня вещи, однако и там надежды не было и совершались такие события, которые я вообще не в силах был уразуметь, потому что они превосходили мою способность к пониманию. Это настолько подавило меня, что я с грохотом рухнул на пол и – по крайней мере, так мне показалось – тогда увидел, что есть спасение. Тут в комнату вбежала моя жена и стала звать на помощь.

О НАШЕМ С МОРДЕХАЕМ ПУТЕШЕСТВИИ В СМИРНУ, ОБЪЯСНЕНИЕМ КОТОРОМУ СЛУЖИТ СОН О «КОЗЬИХ ОРЕШКАХ»

Мой учитель Мордехай будто знал обо всем. Через несколько дней он внезапно появился в Буске, так как ему приснился странный сон. Будто бы перед львовской синагогой он видит библейского Иакова, раздающего людям «козьи орешки». Большинство возмущается или раздражается громким смехом, однако тот, кто принимает сей дар и почтительно его глотает, начинает светиться изнутри подобно фонарику. Поэтому в своем сне Мордехай также протягивал руку за «козьими орешками».

Когда, обрадовавшись его приезду, я стал рассказывать реб Мордке о своих приключениях со светом, он слушал меня внимательно, и в его глазах я увидел гордость и нежность. «Ты еще только в самом начале пути. Пройди ты по нему дальше – узнал бы, что этот окружающий тебя мир уже подходит к концу, именно поэтому ты видишь его так, словно он ненастоящий, и улавливаешь не внешний свет, мнимый и обманчивый, а внутренний, подлинный, порожденный рассыпанными повсюду божественными искрами, которые предстоит собрать Мессии».

Мордехай счел, что я – избранный, которому суждено исполнить особую миссию.

«Мессия грядет, – сказал он, наклонившись ко мне, так что его губы коснулись моего уха. – Он в Смирне».

Тогда я не понял, что имеет в виду реб Мордке, но знал, что Шабтай, да будет благословенно его имя, родился в Смирне, поэтому подумал о нем, хотя он давно умер. Мордехай предложил вместе отправиться на юг, совмещая торговые дела с познанием истины.

Во Львове армянский купец Григорий Никорович вел дела с турками – в основном возил из Турции ремни, но торговал также коврами и килимами, турецким бальзамом и холодным оружием. Сам он поселился в Стамбуле, откуда вел дела, и время от времени его караваны с ценными товарами отправлялись на север и затем возвращались обратно на юг. К ним мог присоединиться любой, не только христианин, – были бы только добрая воля да сумма, достаточная, чтобы заплатить за проводника и вооруженную стражу. Можно взять из Польши товар – воск, жир или мед, иногда янтарь, хотя он расходулся не так хорошо, как раньше; еще требовались деньги на еду, а на месте имело смысл вложить вырученную сумму в новый товар, чтобы хоть что-то на всем этом путешествии заработать.

Я занял небольшую сумму, Мордехай добавил из своих сбережений. Таким образом, у нас появился небольшой капитал, и, очень довольные, мы двинулись в путь. Это было весной 1749 года.

Мордехай бен-Элиаш Маргалит – реб Мордке – был тогда уже зрелым мужчиной. Бесконечно терпеливый, он никогда не торопился, и я не знаю никого, кто проявлял бы столько доброты и снисходительности по отношению к окружающему миру. Я часто служил ему глазами для чтения, потому что сам он уже не мог разобрать мелкие буквы. Мордехай внимательно слушал, а памятью он обладал столь феноменальной, что умел повторить все без единой ошибки. Реб Мордке по-прежнему был в хорошей форме и довольно силен физически – порой я больше жаловался на тяготы пути, чем он. К каравану присоединялись все кому не лень, кто надеялся благополучно добраться до Турции, а затем обратно домой, – армяне и поляки, валахи и турки,

возвращающиеся из Польши, зачастую даже немецкие евреи. Потом, по дороге, они расходились каждый в свою сторону, а их место занимали другие.

Путь вел из Львова в Черновцы, затем по берегу Прута в Яссы и, наконец, в Бухарест, где предстояла более продолжительная остановка. Там мы решили отделиться от каравана и с той поры медленно продвигались туда, куда направлял нас Бог.

Во время стоянок реб Мордке добавлял в курительный табак комочек опиума, отчего наши мысли возносились высоко и устремлялись далеко и все казалось полным сокровенного смысла, глубоких значений. Я замирал, слегка приподняв руки, и, преисполнившись восторга, стоял так часами. Любое движение головы открывало великие тайны. Каждая травинка была элементом сокрытой системы смыслов, неотъемлемой частью необъятности мира, выстроенного разумно и гармонично, мира, в котором самое малое связано с великим.

Днем мы кружили по городским улочкам – вверх-вниз, поднимались по ступеням, рассматривали выставленные прямо на улице товары. Внимательно наблюдали за девушками и юношами, однако не ради собственного удовольствия, а потому, что были сватами, соединяющими молодых. Например, в Никополе мы говорили, что в Русе имеется юноша, благородный и образованный, зовут его – предположим – Шломо, и родители ищут ему жену, милую и с приданым. А в Крайове – что в Бухаресте есть девушка, симпатичная и добрая, приданое, правда, невелико, но такая красавица, что глазам больно, Сарра, дочь Абрама, торговца скотом. Так мы перетаскивали эти вести с места на место, словно муравьи, сооружающие муравейник, листья и палочки. Если все складывалось удачно, нас приглашали на свадьбу, и мы, сваты, получали некоторую сумму, за вычетом того, что проели и пропили. В микву мы всегда погружались семьдесят два раза – столько, сколько букв в имени Бога. Потом можно было позволить себе свежесжатый гранатовый сок, шашлык из баранины и хорошее вино. Мы планировали развернуть дело, которое обеспечило бы благополучную жизнь нашим родным, а нам позволило бы посвятить себя изучению священных книг.

Спали мы в конюшнях, с лошадьми, – на земле, на соломе, а когда повеяло теплым и ароматным воздухом юга – на берегах рек, под деревьями, в молчаливом обществе выючных животных, крепко сжимая полы лапсердаков, куда зашили все свои ценности. Со временем сладковатый запах грязной воды, ила и гниющей рыбы даже стал казаться приятным – по мере того, как Мордехай говорил о нем, пытаясь убедить меня, что именно так на самом деле пахнет мир. По вечерам мы разговаривали вполголоса, так созвучно, что стоило одному начать – другой уже понимал, что он собирается сказать. Когда реб Мордке заговорил о Шабтае и сложных путях, которыми придет к нам спасение, я рассказал ему о Беште, веря, что можно объединить мудрость этих двоих, однако почти сразу выяснилось, что нельзя. И прежде, чем мне пришлось сделать выбор, мы долго обсуждали по ночам доводы за и против. Я сказал, что Бешт полагал, будто в Шабтае есть искра святости, но ее быстро перехватил Самаэль, таким образом подхватив и Шабтая. Реб Мордке замахал руками, словно пытаясь отогнать от себя эти страшные слова. И я поведал ему то, что слышал однажды в доме Бешта: однажды Шабтай пришел и попросил его исправить, так как чувствовал себя ужасным и недостойным грешником. Исправление, то есть тиккун, заключалось в том, что праведник соединялся с душой грешника – шаг за шагом, посредством всех трех ипостасей души: сперва нефеш праведника – животная душа соединялась с нефешем грешника; затем, когда это удавалось, руах – чувства и воля праведника соединялись с руахом грешника; и, наконец, нешама праведника – божественный аспект, который мы носим в себе, – соединялась с нешамой грешника. И когда все это произошло, Бешт ощутил, сколько греховности и тьмы было в человеке по имени Шабтай, и оттолкнул его от себя, и тот упал на самое дно Шеола⁵⁵.

⁵⁵ Обитель мертвых в иудаизме.

Реб Мордке эта история не понравилась. «Ничего твой Бешт не понял. Самое главное – в Исае», – сказал он, а я кивал, потому что тоже знал знаменитую строку из Книги Исаии 53:9 о том, что Мессии назначили гроб со злодеями. Что Мессия должен происходить из низов, быть грешным и смертным. И еще одно определение немедленно приходило реб Мордке на ум, из 60-го тиккуна в Тиккуней ха-Зоар⁵⁶: «Мессия будет хорош внутри, но дурно будет его платье». Он пояснил, что эти слова относятся к Шабтаю Цви, который под давлением султана отказался от еврейской религии и обратился в ислам. Так, покуривая трубку, наблюдая за людьми и дискутируя, мы добрались до Смирны, и там жаркими смирненскими ночами я впитывал это странное, сокровенное знание – что молитва и медитация сами по себе не могут спасти мир, хоть многие и пытались. Задача Мессии ужасна, Мессия – это скот на заклание. Он должен войти в самую сердцевину царства оболочек, во тьму, и высвободить из нее священные искры. Мессия должен спуститься в бездну всего зла и уничтожить его изнутри. Он должен войти туда как свой, грешник, не вызывающий подозрений у сил зла, и обратиться в порошок, который взорвет крепость изнутри.

Я был тогда молод и хотя понимал, что на свете есть страдания и боль, поскольку вдоволь на них нагляделся, но все же доверчиво полагал, будто мир добр и человечен. Меня радовали прохладные, свежие утра и предстоящие нам дела. Радовала пестрота базаров, на которых мы продавали свой убогий товар. Радовала красота женщин, их огромные черные глаза и подведенные веки, радовала хрупкость мальчиков, их стройные, подвижные тела – да, от всего этого у меня кружилась голова. Меня радовали финики, разложенные на просушку, их сладость, трогательные морщинки бирюзы, радужные горы специй на базаре.

«Не обманывайтесь этой позолотой, соскребите ее ногтем, посмотрите, что под ней», – говорил реб Мордке и тащил меня в грязные дворы, где показывал совершенно иной мир. Изъеденные язвами хворые старухи, просящие милостыню у входа на базар; мужчины-проститутки, изнуренные гашишем и больные; бедные, кое-как сколоченные мазанки в предместьях городов; стаи паршивых собак, роющихся в мусоре среди тел своих умерших от голода собратьев. Это был мир бездумной жестокости и зла, в котором все стремилось к гибели, распаду и смерти.

«Мир вовсе не создан добрым Богом, – сказал мне реб Мордке однажды, когда счел, что я уже достаточно повидал. – Бог создал все это случайно и ушел. Это великая загадка. Мессия придет незаметно, когда мир погрузится в глубочайший мрак и чудовищную нищету, в зло и страдания. С ним будут обращаться как с преступником – так предсказано пророками».

В тот вечер на краю огромной мусорной свалки недалеко от города реб Мордке достал из своей сумки рукопись, переплетенную в грубое сукно, чтобы не привлекать внимания, чтобы никто не догадался, не соблазнился. Я знал, что это за книга, но Мордехай никогда не предлагал мне почитать ее вместе, а я не смел его об этом просить, хоть и умирал от любопытства. Я подумал, что придет время и он сам меня позовет. Так и случилось. Я ощущал важность этого момента: меня пробрала дрожь и волосы встали дыбом, когда вместе с книгой я вступил в круг света. Я принялся взволнованно читать вслух.

Это был трактат Ва-Аво ха-Йом эль ха-Аин «И пришел я ныне к источнику», написанный Эйбешюцем, наставником моего реб Мордке. И тогда я почувствовал, что стал следующим звеном в длинной цепочке посвященных, которая тянется от поколения к поколению, а начинается где-то до Шабтая, до Абулафии⁵⁷, до Шимона бар Йохая⁵⁸, до... во мраке времен, и что

⁵⁶ Один из основных текстов каббалы, приложение к Книге Зоар.

⁵⁷ Авраам бен-Самуэль Абулафия (1240 – после 1291) – еврейский мыслитель и каббалист, провозгласивший себя Мессией.

⁵⁸ Шимон бар Йохай (начало II в. – ок. 160 г. н. э.) – один из виднейших еврейских законоучителей, праведник, основоположник каббалы, упоминающийся в Талмуде, в каббалистической традиции считающийся автором Книги Зоар.

эта цепочка, хоть порой скрывается под слоем грязи, хоть поросла травой и покрыта щебнем войн, все же продолжается и устремлена в будущее.

6

О свадебном госте, чужестранце в белых чулках и сандалиях

Входя в комнату, чужестранец вынужден склонить голову, поэтому первое, что бросается в глаза, – не лицо, а одежда. На нем грязное светлое пальто, какие в Польше не носят, на ногах – забрызганные грязью белые чулки и сандалии. С плеча свисает расшитая цветными нитками кожаная сумка. При появлении гостя разговоры стихают, и лишь когда он поднимает голову и свет ламп касается его лица, в комнате раздается возглас:

– Нахман! Да это ведь наш Нахман!

Это не всем понятно, поэтому слышится шепот:

– Какой Нахман, что за Нахман? Откуда? Раввин из Буска?

Его ведут прямо к Элише, где сидят старшие – раввин Хирш из Лянцкороны, раввин Моше из Подгайцев, великий каббалист, а также Залман Добрушка из Просница, после чего дверь закрывается.

Женщины начинают суетиться. Хая с помощницами приносит водку, горячий борщ и хлеб с гусиным смальцем. Ее младшая сестра готовит таз с водой, чтобы путник мог умыться. Только Хае разрешается входить к мужчинам. Теперь она наблюдает, как Нахман тщательно моет руки. Она видит невысокого, худого мужчину, привычно сутулящегося, с нежным лицом и опущенными вниз уголками словно бы вечно печальных глаз. У него длинные шелковистые каштановые волосы и рыжевато-руссая борода. Удлиненное лицо еще молодо, хотя от глаз разбегаются лучики морщинок – Нахман вечно щурится. Свет ламп окрашивает его щеки в оранжевый и красный цвет. Уже садясь за стол, Нахман снимает сандалии, которые совершенно не подходят для этого времени года и подольской грязи. Теперь Хая рассматривает его большие костлявые ноги в светлых грязных носках. Думает, что эти ступни, на которых еще лежит македонская и валашская пыль, шагали из Салоников, Смирны и Стамбула, чтобы принести сюда хорошие вести. А может, дурные. Как к этому относиться – непонятно.

Она украдкой бросает взгляд на отца, Элишу Шора: что он скажет. Но тот отвернулся к стене и слегка раскачивается взад-вперед. Новости, которые привез Нахман, слишком важны, и старики сообща решают, что Нахман должен рассказать о них всем.

Хая поглядывает на отца. Ей не хватает матери – та умерла в прошлом году. Старик Шор хотел жениться, но Хая не позволила и никогда не позволит. Ни к чему ей мачеха. На коленях она держит маленькую дочку. Хая положила ногу на ногу: получилась как будто лошадка для малышки. Из-под складок юбок виднеются красивые красные сапожки до середины икры. Их блестящие носы, непонятно, то ли заостренные, то ли закругленные, привлекают внимание.

Сначала Нахман вручает Шору письма от реб Мордке и Иссахара, и Шор долго, в молчании, их читает. Все ждут, пока он закончит. Воздух сгущается, словно тяжелеет.

– И всё вас убеждает, что он – это он? – спустя бесконечно долгое время спрашивает Нахмана Элиша Шор.

Нахман говорит, что да. От усталости и выпитой водки кружится голова. Он чувствует на себе взгляд Хаи, липкий, влажный, совсем как собачий язык.

– Дайте ему отдохнуть, – говорит старик Шор. Он встает и дружески похлопывает Нахмана по плечу.

Другие тоже подходят и касаются плеча или спины гостя. Эти прикосновения, эти руки образуют круг. На мгновение они закрываются от окружающего мира, и внутри словно бы что-то возникает: ощущается некое присутствие, нечто странное. Они стоят так, склонившись к внутренней части круга, опустив головы, почти соприкасаясь ими. Затем один первым делает

шаг назад – это Элиша; и все расходятся, радостные, покрасневшие; наконец кто-то дает Нахману высокие сапоги с голенищами из овчины – согреть ноги.

Рассказ Нахмана, в котором впервые звучит имя Якова

Шум и бормотание постепенно стихают, Нахман долго выжидает, понимая, что сейчас всё внимание сосредоточено на нем. Он начинает с глубокого вздоха, после которого воцаряется полная тишина. Воздух, который он втягивает и тут же выпускает из легких обратно, вне всяких сомнений, принадлежит другому миру: дыхание Нахмана поднимается, словно тесто для халы, золотится, приобретает запах миндаля, переливается в лучах теплого южного солнца, несет аромат широко разлившейся реки – это воздух Никополя, валашского города в далеком краю, а река – Дунай, на берегу которого лежит Никополь. Дунай настолько широк, что в туманные дни иногда не виден другой берег. Над городом возвышается крепость с двадцатью шестью башнями и двумя воротами. Замок охраняет стража, а ее командир живет на верхнем этаже тюрьмы, где держат должников и воров. Ночью стражники бьют в барабан и кричат: «Аллаху акбар!» Почва здесь каменистая, летом все высыхает, но в тени домов растут инжир и шелковица, а на холмах – виноград. Сам город расположен на южном берегу реки: три тысячи красивых домов, крытых черепицей или гонтом. Больше всего в городе турецких районов, чуть меньше – еврейских и христианских. На никопольском базаре всегда многолюдно: аж тысяча красивых лавок. Рядом основательные постройки с мастерскими. Особенно много портных, которые славятся тем, что умеют сшить любое платье, любой кафтан или рубаху, хотя лучше всего у них выходит одежда наподобие черкесской. А сколько разных народов на базаре! Валахи, турки, молдаване и болгары, евреи и армяне, иногда можно даже встретить купцов из Гданьска.

Толпа переливается всеми цветами радуги, болтает на разных языках, раскладывает на продажу необычные товары: ароматные пряности, яркие коврики, турецкие лакомства – от наслаждения можно упасть в обморок, сушеные финики и изюм всех сортов, плетеные кожаные туфли, красиво раскрашенные и расшитые серебряными нитями.

– Многие наши держат там лавки или посредников, а некоторые из нас сами отлично знакомы с этим благословенным местом. – Нахман выпрямляется на стуле и смотрит на старика Шора, но лицо у Элиши непроницаемое, он и бровью не ведет.

Нахман снова глубоко вздыхает и какое-то время молчит, подогревая таким образом нетерпение, и свое, и чужое. Такое ощущение, что все торопят его взглядами, словно говорят: «Давай уже, давай», знают, что настоящая история впереди.

Сперва Нахман рассказывает о невесте. Говоря о ней – Хане, дочери великого Товы, – он невольно делает несколько плавных движений рукой, очень нежных, отчего слова приобретают бархатистость. Глаза старика Шора на мгновение сощуриваются – вроде как в довольной улыбке: именно таким образом следует рассказывать о невестах. Слушатели удовлетворенно кивают. Красота, нежность и рассудительность невест – надежда всего народа. А когда Нахман называет имя отца Ханы, в комнате раздается причмокивание, поэтому он снова делает паузу, чтобы дать публике время насладиться процессом. Тем, как собираются элементы мира, как он выстраивается заново. Тиккун начался.

Свадьба состоялась в Никополе несколько месяцев назад, в июне. О Хане мы уже знаем. Отец невесты – Иегуда Това ха-Леви, мудрец, великий хахам⁵⁹, чьи труды известны даже здесь, в Рогатине, и Элиша Шор хранит их в своем шкафу; он как раз недавно изучал эти книги. Хана – единственная дочь Товы, сыновей у него много.

⁵⁹ Ученый, мудрец (древнеевр.).

Чем заслужил ее этот Яков Лейбович, до сих пор непонятно. Что это за человек, о котором с такой страстью рассказывает Нахман? И почему именно о нем? Яков Лейбович, из Королёвки? Да нет, из Черновцов. Наш или не наш? А как же, должно быть, наш, раз Нахман о нем говорит. Здешний он – кто-то вспоминает, что знал его отца: не внук ли это Енты, которая сейчас умирает в этом доме? Теперь все смотрят на Израиля из Королёвки и его жену Соблу, но те, еще не уверенные в том, что последует дальше, молчат. Собла сильно краснеет.

– Иегуда Лейб из Черновцов – отец этого Якова, – говорит Элиша Шор.

– Он был раввином в Черновцах, – вспоминает Моше из Подгайцев.

– Уж прямо сразу и раввин... – язвительно замечает Ерухим, который торгует с Шорами. – В иешиве детей писать учил. Бухбиндер, так его называли.

– Он брат Моисея Меира Каменкера, – серьезно сообщает Шор, и тогда на мгновение воцаряется тишина, поскольку этот Каменкер успел сделаться героем: возил запрещенные священные книги немецким братьям-саббатиянцам, за что на него наложили проклятие.

Ага, теперь они вспоминают. И начинают наперебой рассказывать, что этот Иегуда в свое время был арендатором в Бережанке и Черновцах, служил у помещика, собирал с крестьян подать. И будто бы однажды те Иегуду побили. А когда он донес хозяину, тот приказал крестьян проучить, в результате один умер, и Бухбиндеру пришлось бежать, потому что жить спокойно ему бы уже не дали. Да и евреи были настроены враждебно, поскольку он, не скрываясь, читал труды Натана из Газы⁶⁰. Станный был человек, порывистый. Кто-то вспоминает, как после проклятия, наложенного на его брата, раввины нажали на Лейба, и в конце концов он бросил службу и уехал в Валахию, в Черновцы, где под турками жилось поспокойнее.

– Вечно их к туркам тянуло, уж так они казаков боялись, – добавляет Малка, сестра Шора.

Нахман понимает, что отец Якова им не по душе. Чем больше сведений о нем открывается, тем хуже для репутации сына. Поэтому он оставляет Каменкера в покое.

Вот всегда так: пророк не может быть из своих, непременно надо, чтобы он в каком-то смысле был чужаком. Чтобы прибыл из чужих краев, появился ни с того ни с сего и вид имел странный, необычный. Чтобы его окружала тайна, хотя бы такая, как у гоев, – что родился от девственницы. Чтобы иначе ходил, иначе говорил. В идеале – чтобы происходил из мест, которые невозможно себе вообразить, из тех, откуда родом экзотические слова, невиданные блюда, немыслимые запахи – мирра, апельсинов...

Но и это не всё. Одновременно пророк должен быть и своим: идеально, если в нем есть капля нашей крови, пусть это будет дальний родственник того, кого мы, возможно, знали, но успели позабыть, как он выглядит. Бог никогда не говорит через соседа, через того, с кем мы ругаемся по поводу колодца, или того, чья жена искушает нас своими прелестями.

Нахман ждет, пока они умолкнут.

– Я, Нахман из Буска, был на этой свадьбе шафером. Вторым был реб Мордке из Львова.

В головах собравшихся, в этой узкой комнате с низким потолком, рождается мысль, которая вселяет оптимизм. Все связаны со всеми. Мир – лишь многократно воспроизведенная комната в доме Шоров, в верхней части Рогатина, у самой площади. В неплотно зашторенные окна и щелястые, грубо сколоченные двери льется свет звезд, так что и звезды – добрые друзья: какой-нибудь предок или дальний родственник наверняка был с ними на короткой ноге. Скажите слово в рогатинской комнате – и оно в мгновение ока разнесется по свету: разными тропами и трактами, по путям торговых караванов, при помощи посыльных, которые без усталости перемещаются из одного края в другой, носят письма и пересказывают слухи. Подобно Нахману бен-Леви из Буска.

⁶⁰ Натан из Газы (1644–1680) – каббалист, объявивший в 1665 г. Шабтая Цви Мессией и обосновавший с точки зрения богословия движение саббатиянства.

Нахман уже знает, что надо сказать: он расписывает платье невесты, красоту ее брата-близнеца Хаима – они похожи словно две капли воды. Описывает блюда, которые подали на стол, музыкантов и их экзотические инструменты, каких не встретишь тут, на севере. Описывает созревающий на деревьях инжир, каменный дом, построенный так, чтобы окна смотрели на великую реку Дунай, виноградники, на которых уже завязались плоды – вскоре они будут напоминать соски кормящей Лилит.

Жених Яков Лейбович – судя по описаниям Нахмана – высок и хорошо сложен; одет по-турецки, выглядит как паша. Его уже сейчас называют «мудрец Яков», хотя ему еще и тридцати не исполнилось. Учился в Смирне у Иссахара из Подгайцев (в этом месте снова раздаются восхищенные причмокивания). Несмотря на свой юный возраст, успел сколотить приличное состояние на торговле шелком и драгоценными камнями. Его будущей жене четырнадцать. Прекрасная пара. Во время свадебной церемонии стих ветер.

– И тогда... – говорит Нахман и снова делает паузу, хотя ему самому не терпится продолжить свой рассказ, – тогда тесть Якова зашел под хупу и что-то сказал ему на ухо. Но даже если бы все умолкли, если бы птицы перестали петь, а собаки – лаять, если бы телеги остановились, никто бы не услышал той тайны, которую Това сообщил Якову. Ибо это была «раза демехеманута», тайна нашей веры, но мало кто дорос до того, чтобы ее воспринять. Тайна эта столь грандиозна, что, говорят, тело содрогается, когда ее узнаешь. Ее можно прошептать на ухо только самому близкому человеку, причем в темной комнате, чтобы никто не догадался ни по движениям губ, ни по изменившемуся от удивления лицу. Эту тайну шепчут на ухо лишь избранным, давшим зарок никогда никому ее не выдавать, под угрозой проклятия – болезни или внезапной смерти.

– Как можно заключить эту великую тайну в одну фразу? – предупреждает Нахман возможный вопрос. – Это утверждение или, напротив, отрицание? А может, вопрос?

Как бы то ни было, каждый узнавший эту тайну обретет покой и уверенность в себе. Отныне самое сложное будет казаться простым. Может, это какая-то уловка, они всегда ближе к истине – фразы-пробки, затыкающие голову, закрывающие ее для размышлений и открывающие для истины. Может, тайна – это заклятие, десяток слогов, на первый взгляд ничего не значащих, или последовательность чисел, гематрическая⁶¹ гармония, когда числовые значения букв открывают совершенно иной смысл.

– За этой тайной много лет назад из Польши в Турцию посылали Хаима Малаха⁶², – говорит Шор.

– Но привез ли он ее? – сомневается Ерухим.

По комнате проносится ропот. Нахман рассказывает красивую историю, но людям трудно поверить, что все это касается их земляка. Святой? Прямо здесь? А что у него за имя? Яков Лейбович – похоже на самого обычного кошерного мясника, да вон меховщика рогатинского так зовут.

Поздно вечером, когда все расходятся, Шор берет Нахмана под руку, и они выходят на улицу, останавливаются перед магазином.

– Нам нельзя здесь оставаться, – говорит старик, указывая на грязную рогатинскую площадь и темные тучи, несущиеся так низко, что, кажется, можно услышать, как они рвутся, цепляясь за колокольню. – Нам не разрешают покупать землю, не дают осесть навсегда. Гоняют туда-сюда, в каждом поколении происходит какая-нибудь катастрофа, гезера⁶³. Кто мы и что нас ждет?

⁶¹ Гематрия – в иудаизме один из методов анализа смысла слов и фраз на основе числовых значений входящих в них букв. Гематрией слова называется сумма числовых значений входящих в него букв. Слова с одинаковой гематрией скрывают в себе символическую смысловую связь.

⁶² Хаим Малах (XVII в.) – мистик и саббатинец, талмудист и каббалист.

⁶³ Средневековые законодательные гонения или ограничительные указы против евреев, синоним погрома.

Они расходятся на несколько шагов, и в темноте слышно, как ударяют о доски забора струйки мочи.

Нахман видит домик из трухлявых досок, словно прижатый стрехой к земле, с крошечными окнами, а за ним маячат другие, такие же покосившиеся, притулившиеся друг к другу, точно ячейки в сотах. Он знает, что здесь множество ходов, коридоров, укромных уголков и закоулков, где стоят мешки с неразобранными дровами. Дворы, огороженные невысокими заборами, на которых днем греются на солнце глиняные горшки. Переходы в другие дворики, крохотные – едва можно развернуться, с тремя дверями, ведущими в разные дома. И чердаки, соединяющие эти дома поверху, а в них – множество голубей, которые отмеряют время слонами экскрементов, – живые часы. В огородиках размером с разложенный на земле лапсердак с трудом завязывается капуста, морковь из последних сил цепляется за грядку. Жалко места на цветы, можно позволить себе разве что мальву, что тянется вверх; сейчас, в октябре, ее стебли будто подпирают дом. Вдоль улиц, у забора, расплзается помойка, где роются кошки и одичавшие собаки. Она тянется через все местечко, через фруктовые сады и межи до самой реки, где женщины старательно отстирывают грязное белье всего местного населения.

– Нам нужен кто-нибудь, кто будет во всем нас поддерживать, станет опорой. Не раввин, не мудрец, не богатый человек, не солдат. Нам нужен тот, кто силен, но выглядит слабым, тот, кто не знает страха. Он выведет нас отсюда, – говорит Элиша Шор, поправляя полы тяжелого шерстяного пальто. – Ты такого знаешь?

– Куда? Куда нам идти? – спрашивает Нахман. – В Землю Израиля?

Элиша поворачивается и подходит к нему. На мгновение Нахман ощущает его запах: от старика Шора пахнет плохо просушенным табаком.

– В мир. – Элиша Шор делает такой жест, точно описывает некую область над ними, над крышами Рогатина.

Уже войдя в дом, старик говорит:

– Приведи его сюда, Нахман. Этого Якова.

Школа Иссахара, и кем, собственно, является Бог. Продолжение рассказа Нахмана бен-Леви из Буска

Смирна знает, что грешна, лукава, лжива. На узких улочках торгуют днем и ночью; всегда кто-то готов продать, всегда кто-то готов купить. Товары переходят из рук в руки, ладонь тянется за монетами, которые исчезают в глубоких карманах пальто, в складках широких брюк. Мешочки, кошельки, коробки, сумки, повсюду звон монет, все надеются, что сделка принесет прибыль. На ступенях мечетей сидят так называемые сарафы, на коленях они держат небольшие столики с выемкой сбоку, чтобы ссыпать пересчитанные монеты. Рядом стоят мешки с серебром и золотом, а также – всевозможной валютой, на которую клиент желает обменять свой капитал. У менял, похоже, имеются любые деньги, какие только существуют на свете, эти люди на память знают курсы обмена; ни мудрые книги, ни самые точные карты – ничто не описывает мир лучше, чем выгравированные на медных, серебряных и золотых монетах профили правителей, чем их имена. Именно отсюда, с этих плоских поверхностей они и владеют, сурово, словно языческие боги, взирая на своих подданных.

Улицы образуют замысловатый клубок, в котором легко заблудиться рассеянному прохожему. Здесь находятся лавки и магазины тех, кто побогаче, а склады тянутся в глубь зданий и перетекают в квартиры, где торговцы держат свои семьи и самые ценные товары. Улочки часто крытые, отчего город напоминает настоящий лабиринт, и приезжим случается вдоволь поплутать, прежде чем они доберутся до знакомых мест. Тут почти ничего не растет; где не живут или не молятся – там сухая и каменистая земля покрыта мусором, гниющими объедками, в которых роются, устраивая драку из-за каждого куска, собаки и птицы.

В Смирне огромное количество польских евреев, прибывших сюда: кто просить милостыню – там, откуда они приехали, нищета, – кто по торговым делам, помельче, на пару золотых монет, и покрупнее – когда требуются сундуки или мешки. Они ходят туда-сюда, расспрашивают, занимаются коммерцией и вовсе не собираются возвращаться домой. Смирненские евреи смотрят на них с чувством превосходства, языка их не знают, общаются на древнееврейском (кто умеет) или по-турецки. Польских евреев можно узнать по более теплой одежде, грязной, обтерханной, нередко случайной, – ясно, что они полмира объехали. Сейчас волосы у них всклокочены, платье расстегнуто – слишком жарко.

Некоторые из богатых подольских купцов держат в Смирне своих представителей – те торгуют, ссуживают деньги, выдают гарантии и вообще в отсутствие хозяев присматривают за делами.

Многие из них, большинство, – последователи Шабтая Цви. Они этого вовсе не скрывают и открыто славят Мессию: здесь, в Турции, преследований опасаться не приходится, ведь султан терпим к другим религиям, если не проповедовать их чересчур рьяно. Эти евреи, в общем, прижились тут, сделались чуть похожи на турок, ведут себя свободно; другие, менее самоуверенные, по-прежнему носят еврейскую одежду, но среди подольской домотканости нет-нет да и мелькнет что-нибудь чужеземное, пестрое – какая-нибудь расшитая сумка, подстриженная по моде борода, турецкие туфли из мягкой кожи. Так вера проявляется во внешнем облике. Но также известно, что многие из тех, кто выглядит как самый что ни на есть настоящий еврей, также одержимы идеями саббатизма.

С ними со всеми и общаются Нахман и реб Мордке, потому что с ними легче договориться – они схожим образом воспринимают этот огромный красочный мир. Недавно встретили Нуссена, который тоже приехал с Подолья и чувствует себя в Смирне лучше, чем ее уроженцы.

Одноглазый Нуссен, сын львовского шорника Арона, скупает крашеную кожу, мягкую, нежную, с тиснением. Кожу эту он пакует в тюки и организует отправку на север. Часть оставляет в Бухаресте, Видине и Джурджу, часть отправляет дальше, в Польшу. Во Львов привозят ровно столько, сколько нужно для успешной работы мастерской его сыновей, которые изготавливают кожаные обложки для книг, портмоне и кошельки. Нуссен подвижный и нервный, говорит быстро, на нескольких языках сразу. В те редкие моменты, когда он улыбается, можно увидеть ровные, белоснежные зубы – запоминающаяся картина, потому что лицо его тогда становится красивым. Нуссен всех здесь знает. Ловко лавирует между прилавками, по узким улочкам, так, чтобы не столкнуться с тележкой или ослом. Его единственная слабость – женщины. Он не может устоять ни перед одной и из-за этого вечно попадает в неприятности, да и денег на обратный путь скопить не удается.

Благодаря Нуссену реб Мордке и Нахман попадают к Иссахару из Подгайцев; Нуссен ведет их, гордый, что лично знаком с мудрецом.

Школа Иссахара – двухэтажное здание в турецком квартале, узкое и высокое. Посреди прохладного двора растет апельсиновое дерево, дальше – сад со старыми оливами, в тени которых любят отдыхать бездомные псы. Все желтые, словно произошли из одного рода, от одной собачьей Евы. Их гоняют, швыряют камни. Сонные собаки неохотно и вяло выходят из тени, глядя на людей как на вечный крест, который им приходится нести.

Внутри прохладно и темно. Иссахар сердечно приветствует реб Мордке, подбородок у него дрожит от волнения: двое чуть согбленных стариков, положив руки друг другу на плечи, делают круг, словно исполняют танец белых облаков, которые, притворяясь бородами, висят на их губах. Они топчутся, похожие друг на друга, хотя Иссахар худосочнее и бледнее – видно, редко бывает на солнце.

Гостям выделяют спальню, в самый раз на двоих. Слава реб Мордке осеняет и Нахмана: здесь к нему относятся серьезно и почтительно. Наконец-то можно выспаться в чистой и удобной постели.

Внизу спят ученики – на земле, вповалку, почти как у Бешта в Мендзыбоже. Кухня во дворе. Воду в больших кувшинах приносят из еврейского колодца во втором дворе.

В комнате для учебы всегда шум и гам, будто это какой-нибудь базар, только торгуют тут особым товаром. И никогда не ясно, кто учитель, а кто ученик. Учиться следует у молодых, неопытных и не испорченных книгами – так советует реб Мордке. Иссахар идет еще дальше: хотя он остается столпом этого священного места и всё вращается вокруг него, тем не менее этот бейт-мидраш – центр, его устройство сродни улью или муравейнику, и если здесь есть царица, то, вероятно, имя ей – Мудрость. Юношам предоставляется здесь немалая свобода. Они вправе и даже обязаны задавать вопросы; вопросы не бывают глупыми, над каждым стоит задуматься.

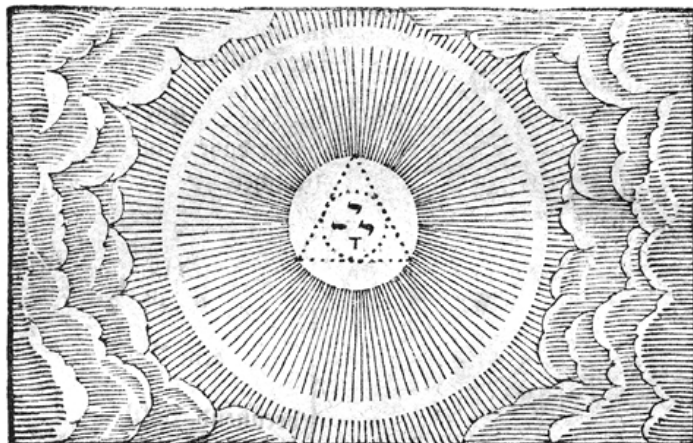
Здесь обсуждают то же, что и во Львове или в Люблине, меняются лишь обстоятельства и обстановка – все происходит не в сырой задымленной халупе, не в школьной комнате, где пол посыпан опилками и пахнет сосной, а под открытым небом, на горячих камнях. Вечером голоса беседующих заглушают цикады, так что приходится говорить громче, чтобы звучало ясно и было понято.

Иссахар учит, что есть три пути, ведущих человека к духовности. Первый – общий и самый простой. Им идут, например, мусульманские аскеты. Они используют любое ухищрение, чтобы удалить из своей души все природные формы, то есть любые образы земного мира. Ибо те мешают развиваться формам подлинно духовным: когда духовная форма возникает в душе, ее следует изолировать и мысленно укреплять, пока она не разрастется и не заполнит всю душу целиком, – тогда человек сможет пророчествовать. Например, они без конца, вновь и вновь повторяют имя Аллах, Аллах, Аллах, пока это слово не овладеет всем их умом и не произойдет так называемое «гашение».

Второй путь носит философский характер и имеет сладостный для нашего разума аромат. Он заключается в том, что ученик получает знания в какой-либо одной области, например математике, затем в других и, наконец, приходит к теологии. Предмет, который он изучил и которым овладел его человеческий разум, властвует над ним, а ему кажется, что он достиг мастерства во всех сферах. Он начинает понимать всякого рода сложные взаимосвязи и убежден, что это результат расширения и углубления его человеческих знаний. Не зная, что просто буквы, подхваченные его мыслью и воображением, воздействуют на него таким образом, что их движение упорядочивает его разум и открывает дверь к невыразимой духовности.

Третий путь заключается в каббалистической перестановке, произнесении, подсчете букв – и ведет к подлинной духовности. Этот путь лучше других, он также доставляет огромное наслаждение, потому что благодаря ему человек приближается к самой сути творения и познает, кто такой Бог.

Однако успокоиться после подобных разговоров непросто, и после того, как Нахман выкурит с реб Мордке последнюю трубку и начинает засыпать, у него перед глазами возникают странные образы, в которых являются то улыи, полные светящихся пчел, то какие-то темные фигуры, из которых выходят другие силуэты. Иллюзии. Он не может уснуть, к тому же бессонницу усугубляет небывалая жара, к которой им, жителям севера, трудно привыкнуть. Нахман частенько сидит по ночам один на краю мусорной свалки и смотрит в звездное небо. Первостепенная для любого адепта задача – понять, что Бог, кем бы он ни являлся, не имеет ничего общего с человеком и остается таким далеким, что недоступен человеческим чувствам. Как и его намерения. Люди никогда не узнают, что Бог замыслил.



Ris 72. Bog_kadr

О простаке Якове и податях

Еще находясь в пути, они слышали о Якове от путешественников: мол, есть такой ученик у Иссахара, пользуется известностью среди евреев, хотя не очень понятно почему. Из-за его прозорливости и странного, нарушающего все человеческие правила поведения? А может, в силу необычной для молодого человека мудрости? Якобы сам он себя считает простаком и так велит себя называть: аморей, простой человек. Говорят, он в самом деле большой чудаки. Яков рассказывал, как пятнадцатилетним мальчиком, еще в Румынии, пришел как ни в чем не бывало на постоянный двор, где взымали пошлину с товаров, сел за стол, приказав подать вино и еду, вытащил какие-то бумаги, потом велел принести товары, которые следует обложить пошлиной, скрупулезно их переписал, а деньги забрал себе. Его бы бросили в тюрьму, не вступишь какая-то богатая дама; благодаря ее протекции происшествие сочли юношеской проказой и сурово наказывать не стали.

Слушая все это, собравшиеся одобрительно усмеваются и похлопывают друг друга по спине. Реб Мордке тоже доволен, а Нахман находит такое поведение неприличным и, честно говоря, удивлен, что не только реб Мордке, но и все остальные довольно хихикают.

– Почему тебя это так восхищает? – сердито спрашивает Нахман.

Реб Мордке перестает смеяться и смотрит исподлобья.

– А ты подумай, что в этом есть хорошего, – говорит он и спокойно тянется за трубкой.

Нахман убежден, что Яков обманул людей и забрал деньги, на которые не имел никаких прав.

– Почему ты на стороне тех? – спрашивает его реб Мордке.

– Потому что мне тоже приходится платить подушный налог, хотя я ничего плохого не совершил. Так что мне жаль тех людей, у которых отняли то, что им принадлежало. Ведь когда явился настоящий сборщик пошлыны, им пришлось заплатить еще раз.

– А за что они должны платить, ты подумал?

– Как это? – Нахмана удивляют слова учителя. – Как это «за что платить»?

Он теряет дар речи: это же очевидно.

– Ты платишь за то, что ты еврей, живешь благодаря хозяйской, королевской милости. Платишь налоги, но, если с тобой поступят несправедливо, ни хозяин, ни король не вступятся. Где-нибудь записано, что твоя жизнь тоже чего-то стоит? Что каждый твой год и месяц имеют цену и каждый день можно пересчитать на золото? – возражает реб Мордке, невозмутимо и тщательно набивая трубку.

Нахман задумывается даже глубже, чем во время богословских споров. Как получилось, что одни платят, а другие взимают? Откуда у некоторых людей столько земли, что вовек не

объедешь, а другие арендуют у них участок, за который платят так дорого, что не хватает на хлеб?

– Они получили ее от отцов и матерей, – говорит Нахман без особой уверенности, когда наавтра они возвращаются к этому разговору. И уже догадывается, к чему клонит реб Мордке.

– А отцы от кого? – спрашивает старик.

– Тоже от отцов?.. – начинает Нахман, но не заканчивает свою корявую фразу, поскольку уже сообразил, как функционирует весь этот мыслительный механизм, и продолжает, словно беседует сам с собой: – Или выслужились перед королем – и он дал им землю. Или они купили эти земли и теперь передают в наследство потомкам...

Порывистый одноглазый Нуссен прерывает его:

– Но мне кажется, что землю не следует ни покупать, ни продавать. Так же как воду и воздух. Огнем же не торгуют. Это то, что дано нам Богом, не каждому по отдельности, а всем вместе. Как небо и солнце. Разве солнце кому-нибудь принадлежит, разве звезды – чьи-то?

– Нет, потому что они бесполезны. То, что приносит человеку пользу, непременно становится чьей-то собственностью... – пытается спорить Нахман.

– Как это солнце бесполезно?! – восклицает Ерухим. – Если бы только жадные руки смогли до него дотянуться, они бы немедленно разрезали его на части, упрятали подальше, а потом выгодно продали.

– И землю делят, точно труп животного, присваивают, охраняют и сторожат, – бормочет себе под нос реб Мордке, но все больше сосредотачивается на процессе курения, и все знают, что он вот-вот уплывет в свой ласковый транс, где неведомы такие слова, как «пóдать».

Тема податей вызывает в слушателях живой отклик, и Нахману приходится сделать паузу, потому что они начинают переговариваться.

Предупреждают друг друга, что не следует вести дела с «теми» евреями, потому что это ничем хорошим не кончится. Вот, например, случай с раввином Исааком Бабадом из Бродов, который растратил деньги общины... И как тут платить подати? Они слишком высоки и взимаются за все подряд, получается, что вообще нет смысла чем-либо заниматься. Лучше лечь и спать круглые сутки или смотреть, как облака плывут по небу, слушать птичьи трели. У христианских купцов таких проблем нет, у них подати человеческие; и армянам намного легче, потому что они христиане. Поэтому поляки и русины считают армян своими, как полагают собравшиеся в доме Шора, напрасно. Ум армянина непостижим и коварен. Он даже еврея облапошит. Армянам все идут навстречу, потому что поддаются их обаянию, хотя на самом деле те хитры и скользки, как змеи. И еврейским общинам приходится платить все больше и больше, уже и Синод в долги влез, потому что платил подушную подать еще и за тех евреев, которые сами за себя заплатить не могут. Так что правят самые богатые, у кого есть деньги, а после них – сыновья и внуки. Дочерей выдают замуж за родственников, чтобы капитал остался в семье.

Можно ли не платить подати? Выскользнуть из этого колеса? Ведь если ты хочешь быть честным и соблюдать законы, то эти законы моментально обернутся против тебя. Вот в Каменце приняли решение изгнать евреев – в один день. Теперь им разрешено селиться не ближе чем в шести милях от города. Как с этим быть?

– Только дом покрасили, – говорит жена Ерухима, торговца водкой, – а вокруг такой огород был...

Женщина плачет, больше горюя об утраченной петрушке и кочанах капусты, которые в этом году уродились на славу. Петрушка – толщиной с большой палец крупного мужчины. Капуста крепкая, с головку младенца. Даже собрать не позволили. Сравнение с головкой младенца загадочным образом заставляет и других женщин разразиться рыданиями, так что они наливают себе водки – по чуть-чуть – и немного успокаиваются, хотя все еще всхлипывают,

а затем возвращаются к работе – ошпиванию гусей и штопке; женские руки к безделью не приучены.

О том, как Нахман предстает перед Нахманом, или Семя тьмы и ядрышко света

Нахман вздыхает, и это заставляет взволнованную братию умолкнуть. Теперь предстоит самый главный рассказ – все это чувствуют. И замирают, словно ждут откровения.

Нехитрые дела Нахмана и реб Мордке в Смирне идут не особенно хорошо. Слишком много времени отнимает общение с Богом; время они вкладывают в вопросы, в размышления; словом, сплошные расходы. А поскольку каждый ответ порождает новые вопросы, дела хромают, так как расходы все увеличиваются. В счетах – вечный дефицит, в графе «должен» – больше, чем в графе «имеется». О да, если бы вопросами можно было торговать, они с реб Мордке нажили бы целое состояние.

Иногда молодежь посылает Нахмана, чтобы он кого-нибудь переспорил. В этом ему нет равных, любого на лопатки положит. Впрочем, многие любящие подискутировать евреи и греки подзадоривают молодежь и вовлекают Нахмана в споры. Это своего рода уличная дуэль: соперники садятся друг напротив друга, вокруг собираются зеваки. Зачинщик предлагает тему, да, в сущности, предмет спора не имеет значения – фокус в том, чтобы привести аргументы, которые лишат оппонента возможности возразить и заставят сдаться. Проигравший в этом состязании либо платит, либо ставит еду и вино. Из этого рождается новый спор, и так до бесконечности. Нахман всегда выигрывает, поэтому они не голодают.

– Однажды днем, когда Нуссен и остальные искали кого-нибудь, кто бы со мной поспорил, я остался на улице – предпочел понаблюдать за точильщиками ножей, продавцами фруктов и свежавыжатого гранатового сока, уличными музыкантами и прочим толпившимся тут народом. Было очень жарко, так что я присел в тени, рядом с ослиами. И в какой-то момент заметил мужчину, выходящего из толпы и направляющегося к дому, где жил Яков. Потребовалось несколько мгновений, несколько ударов сердца, чтобы понять, кого я вижу, хотя человек почти сразу показался мне знакомым. Я смотрел на него снизу, поскольку сидел на корточках, а он шел к двери Якова, одетый во фланелевый лапсердак, такой же, какой у меня, еще с Подолья. Я видел его профиль, редкую щетину на щеках, веснушчатую кожу и рыжие волосы... Вдруг он повернулся ко мне, и я узнал его. Это был я сам! – Нахман умолкает и слышит изумленные, полные недоверия крики:

– Как это?! Что это значит?!

– Это плохой знак.

– Это был знак смерти, Нахман.

Проигнорировав эти боязливые реплики, он продолжает:

– Было жарко, раскаленный воздух, казалось, ошетинился лезвиями ножей. Я почувствовал слабость, сердце словно повисло на тонкой нити. Я хотел встать, но ноги меня не держали. Чувствуя, что умираю, я сумел только прижаться к ослу, который, помню, смотрел на меня удивленно: откуда вдруг такой прилив нежности?

Какой-то ребенок начинает громко смеяться, но мать журит его, и он замолкает.

– Я видел этого человека в виде тени. Послеполуденный свет слепил глаза. Человек остановился надо мной, находившимся в полуобморочном состоянии, и наклонился, чтобы коснуться моего пылающего лба. В мгновение ока я обрел ясность ума и вскочил... А он – тот я – исчез.

Слушатели облегченно вздыхают, отовсюду слышатся бормотание и шепот. Хорошая история, публике нравится.

Но Нахман сочиняет. На самом деле он упал в обморок на глазах у ослов и никто не пришел ему на помощь. Потом его забрали товарищи. И только вечером, когда Нахман лежал в темной, прохладной и тихой комнате без окон, появился Яков. Остановился на пороге, оперся рукой о косяк и, наклонившись вперед, заглянул внутрь – Нахман видел только его силуэт, темную фигуру в дверном проеме на фоне лестницы. Чтобы войти, Якову пришлось склонить голову. Он колебался, прежде чем сделать шаг, которому – тогда он об этом еще не знал – суждено было изменить всю его жизнь. Наконец Яков принял решение и вошел к ним – лежащему в жару Нахману и сидящему у его постели реб Мордке. Длинные до плеч волнистые волосы прикрыты феской. На пышной темной бороде заиграл свет, зажег ее на мгновение рубиновыми отблесками. Яков напоминал мальчика-переростка.

Когда потом выздоровевший Нахман вышел на улицы Смирны и шагал мимо сотен спешивших по своим делам людей, он не мог отделаться от мысли, что, возможно, среди них находится Мессия, никем не признанный. И что самое ужасное – он, Мессия, тоже этого не осознает.

Услышав это, реб Мордке долго качал головой и наконец сказал:

– Ты, Нахман, очень тонкий инструмент. Чувствительный, нежный. Ты бы и сам мог быть пророком этого Мессии, как Натан из Газы был пророком Шабтая Цви, да будет благословенно его имя.

И после долгой паузы – реб Мордке был занят тем, что измельчал кусочек опиума и смешивал его с табаком, – загадочно добавил:

– Всякое место имеет два обличья, всякое место двойственно. Возвышенное является также и низменным. Благословенное – омерзительным. В величайшей тьме присутствует искра могущественнейшего света, и, наоборот, там, где царит вездесущий свет, семя тьмы сокрыто в ядрышке света. Мессия – наш двойник, наша более совершенная версия: такими мы были бы, если бы не наше падение.

О камнях и беглеце с ужасным лицом

Внезапно – когда собравшиеся в рогатинской комнате люди разговаривают, перебивая друг друга, а Нахман решает промочить горло вином – раздаются удары по крыше и стенам; поднимаются крики, суматоха. Через разбитое стекло в комнату влетает камень, опрокидывает подсвечник; огонь начинает жадно лизать рассыпанные по полу опилки. Какая-то пожилая женщина бросается тушить пламя своими тяжелыми юбками. Другие с воплями выбегают на улицу, в темноте слышатся сердитые мужские возгласы, однако град камней уже прекратился. Спустя долгое время, когда гости возвращаются, раскрасневшиеся от возбуждения и гнева, позади дома снова раздаются крики, наконец в главной комнате, где только что танцевали, появляются взволнованные мужчины. Среди них двое братьев Шоров – Шломо и Исаак, будущий жених, и Мошек Абрамович из Лянцкороны, зять Хаи, мужчина статный и крепкий, они держат под руки тощего парнишку, яростно лягающегося и плюющего.

– Хаскель! – восклицает Хая и подходит ближе, наклоняется, чтобы заглянуть ему в лицо, но тот, весь в соплях и злых слезах, отворачивается, чтобы не встречаться с ней взглядом. – Кто с тобой был? Как ты мог?

– Чертово семя, предатели, раскольники! – кричит он, наконец Мошек отвечает такую оплеуху, что Хаскель, пошатнувшись, падает на колени.

– Не бей его! – кричит Хая.

Они отпускают парня, тот с трудом поднимается и ищет выход. На светлой льняной рубашке появляются пятна крови, которая капает из разбитого носа.

Тогда к нему подходит старший из братьев, Натан Шор, и спокойно говорит:

– Хаскель, скажи Арону, чтоб не смел больше такое устраивать. Мы не хотим крови, но Рогатин – наш.

Хаскель убегает, спотыкаясь о полы собственного лапсердака. У ворот его взгляд падает на спокойно стоящего человека с ужасным, искаженным лицом, и при виде этой фигуры мальчик начинает скулить от страха:

– Голем. Голем...

Добрушка из Моравии потрясен, он прижимает к себе жену. Сетует, что тут сплошные дикари, что у них в Моравии люди сидят по домам и занимаются своими делами и никто ни во что не вмешивается. Это ж надо было такое придумать – камни кидать!

Недовольный Натан жестом велит «голему» вернуться в сарай, где тот живет. Теперь придется его куда-нибудь сплавить, а то Хаскель их выдаст.

Беглец – так называют этого крестьянина с обмороженным лицом и красными руками. Огромный, безмолвный, черты лица смазаны из-за шрамов, оставшихся после обморожения. Большие красные руки напоминают клубни, шершавые и опухшие. Они вызывают чувство уважения. Беглец силен, как зубр, и абсолютно безобиден. Спит в коровнике, в пристройке, там теплая стена, потому что она примыкает к дому. Трудолюбивый и смывленный, работу выполняет старательно и с крестьянской смекалкой, медленно, но верно. Удивительна эта его привязанность к Шорам: что ему евреи, которых он, будучи крестьянином, вероятно, презирает и ненавидит? Они – причина многих его крестьянских несчастий: арендуют хозяйское добро, собирают налоги, спаивают крестьян в корчме, а едва почувствуют себя немного свободнее, начинают вести себя как рабовладельцы.

Но этот голем не выказывает гнева. Возможно, у него что-то с головой: вместе с лицом и руками отморозил себе часть разума, поэтому настолько медлителен – словно от вечного холода.

Шоры обнаружили его в снегу зимой, в морозы, возвращаясь домой с ярмарки. И только потому, что Элише понадобилось справить нужду. Там был еще один беглец, такой же, в рыжеватой крестьянской сермяге, в набитых соломой сапогах, с мешком, в котором остались только крошки хлеба и носки, но он умер. Снег успел прикрыть инородные для леса тела, и Шор был уверен, что это мертвые животные. Труп второго мужчины они оставили там, где нашли.

Оттаивал беглец долго. Медленно приходил в себя, день за днем, словно и душу тоже отморозил, и она теперь отогревалась, подобно телу. Раны не заживали, гноились, кожа сходилась клочьями. Хая промывала ему лицо, поэтому знает беглеца лучше других. Знает его крупное красивое тело. Он спал в комнате всю зиму, до апреля, а Шоры раздумывали, что с ним делать. Надо бы сообщить властям, тогда беглеца заберут и сурово накажут. Шоры разочарованы тем, что он ничего не говорит, а раз не говорит, значит, у него нет ни своей истории, ни языка – он как бездомный, лишен родины. Элиша проникся к беглецу какой-то необъяснимой симпатией, а вслед за ним и Хая. Сыновья упрекали отца: зачем держать в доме того, кто столько ест, да еще чужака – шпион в улье, шмель среди пчел. Если дойдет до властей, будут большие неприятности.

Шор решил ничего никому не говорить, а если кто спросит – скажут, что это родственник из Моравии, ненормальный, поэтому молчит. А польза от него такая, что он хоть никуда и не выходит, зато умеет починить телегу, колесо смастерить, огород вскопать, зерно обмолотить, если надо, стены побелить; работает за кормежку и ничего не требует.

Шор иногда наблюдает за ним, за его бесхитростными движениями, за тем, как он трудится – ловко, быстро, механически. В глаза беглецу старается не смотреть; боится того, что мог бы там увидеть. И Хая однажды сказала ему, что видела голема плачущим.

Шломо, сын, отругал отца за жалость и за то, что он приютил беглеца.

– А вдруг это убийца? – спросил он взволнованно, почти закричал.

– Мы не знаем, кто он, – ответил Шор. – А вдруг посыльный?

– Но он же гой, – отрезал Шломо.

Да, он прав – гой. Держать в доме такого беглеца – опасно и противозаконно. Узнает какой-нибудь недоброжелатель – и неприятностей не оберешься. Но крестьянин никак не реагирует на пантомиму, цель которой – объяснить ему, что надо уходить. Не обращая внимания на Шора и всех прочих, он поворачивается и идет туда, где ему устроили ночлег, – на конюшню.

Шор считает, что быть евреем плохо, что еврею жить тяжело, но быть крестьянином – хуже не придумаешь. Нет, наверное, судьбы горше. Ниже их, пожалуй, только всякие гады. Ведь даже о коровах и лошадях, а уж тем более о собаках хозяин заботится лучше, чем о крестьянине или еврее.

Как Нахман попадает к Енте и засыпает на полу у ее постели

Нахман пьян. Ему хватило нескольких рюмок – давно не пил, да и устал с дороги, так что ядреная местная водка валит с ног. Он хочет выйти на улицу, бредет по лабиринту коридоров, ищет выход во двор. Ладони нащупывают шершавые деревянные стены и наконец обнаруживают дверную ручку. Нахман открывает дверь и видит маленькую комнатку, в которой умещается только кровать. У изножья этой кровати – куча пальто и шуб. Из комнаты выходит какой-то человек с бледным усталым лицом, смотрит на Нахмана враждебно и подозрительно. Они минуют друг друга в дверях, и человек исчезает. Наверное, лекарь. Нахман покачивается, касается рукой деревянной стены, у него отрыжка – выпитым и гусиным салом. Здесь горит только маленькая масляная лампа – крохотное пламя, которое нужно подкрутить, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Когда глаза Нахмана привыкают к темноте, он видит в постели очень старую женщину в сбившемся набок чепце. Мгновение не может понять, кто это. Похоже на шутку – умирающая старушка в доме, где играют свадьбу. Подбородок женщины приподнят, она тяжело дышит. Лежит на высоких подушках, маленькие высохшие кулачки стискивают вышитое льняное покрывало.

Бабушка Янкеля Лейбовича, Якова? Нахмана охватывает ужас, но одновременно его трогает вид этой странной старухи; рукой он нащупывает позади себя дверь, ищет скобу. Ждет какого-то знака, но старуха, видимо, без сознания – она не двигается, под ресницами блестит, отражая свет, полоска белка. Пьяному Нахману кажется, что женщина его зовет, и, пытаясь сдержать страх и отвращение, он присаживается у постели на корточки. Ничего не происходит. Вблизи старуха выглядит лучше, как будто спит. Только теперь Нахман понимает, насколько он устал. Напряжение спадает, голова опускается на грудь, веки тяжелеют. Приходится несколько раз встряхнуться, чтобы не уснуть, и он было встает, чтобы уйти, но при мысли о толпе гостей с их любопытными взглядами и бесчисленными вопросами ему делается противно и страшно. Поэтому, уверенный, что сюда никто не войдет, Нахман ложится возле кровати, сворачивается на коврик из овечьей шерсти клубочком, как пес. Он едва жив, силы совершенно оставляют его. «Только на минутку», – говорит себе Нахман. Закрывает глаза, и под веками возникает лицо Хаи – ее заинтригованный, восхищенный взгляд. Нахману делается приятно. Он чувствует запах влажных половиц, вонь тряпок, грязной одежды и вездесущего дыма, который переносит его в детство: да, он дома.

Если бы Ента умела, она бы рассмеялась. Она видит спящего мужчину немного сверху и уж точно делает это с закрытыми глазами. Ее новый взгляд повисает над спящим, и, как ни странно, Енте видны его мысли.

В голове спящего она видит другого мужчину. И видит, что, как и сама Ента, спящий его любит. Для нее этот мужчина – ребенок, крохотный, только родившийся, еще покрытый темным пушком, как все младенцы, слишком рано вырвавшиеся на свет.

Когда он должен был родиться, вокруг дома кружили ведьмы, но не могли войти внутрь, потому что Ента стояла на страже. Она сторожила вместе с собакой, отцом которой был настоящий волк, из тех одиночек, что ищут добычу в курятниках. Звали собаку Вильга. Поэтому

во время рождения ребенка младшего сына Енты Вильга бегала вокруг дома, весь день и всю ночь, лапы уже едва держали ее, но благодаря этому ведьмы и сама Лилит не сумели пробраться внутрь.

Лилит, если кто не знает, была первой женой Адама, а поскольку она не хотела быть Адаму послушной и лежать под ним, как велел Бог, бежала к Красному морю. Там она покраснела, как будто с нее содрали кожу. Чтобы заставить ее вернуться, Бог послал в погоню трех грозных ангелов по имени Сенон, Сансеной и Сомангелоф. Они напали на Лилит в ее убежище, терзали и угрожали утопить. Но она не пожелала возвращаться. Да если бы и захотела, не смогла бы – Адам не принял бы ее, ибо, согласно Торе, женщина, которая уже спала с другим, не может вернуться к своему мужу. А кто был любовником Лилит? Сам Самаэль.

Поэтому Богу пришлось создать для Адама вторую, более послушную женщину. Она была кроткой, но довольно глупой. Съела, несчастная, запретный плод, который и стал причиной падения. Таким образом, закон вступил в силу – в виде наказания.

Но Лилит и все подобные ей существа принадлежат миру до грехопадения, поэтому человеческие законы на них не распространяются, они не связаны человеческими обычаями и человеческими порядками, не обладают человеческой совестью и сердцем, не проливают человеческих слез. Для Лилит не существует понятия греха. Это иной мир. Человеческому взору он может показаться странным, как если бы был нарисован тонкими линиями, потому что все там более лучезарно и эфемерно, а относящиеся к нему существа способны проникать сквозь стены и предметы, а также сквозь друг друга – между ними нет таких различий, как здесь, между людьми, которые замкнуты в себе, словно в железной банке. Там – все иначе. И человек от животного отличается не так сильно, только внешне: там мы с животными можем разговаривать – безмолвно, они понимают нас, а мы их. То же и с ангелами – там их можно увидеть. Они летают по небу, как птицы, иногда, подобно аистам, опускаются на крыши домов – дома там тоже есть.

Нахман просыпается, голова у него кружится от увиденных картин. Он нетвердо стоит на ногах и смотрит на Енту; немного поколебавшись, касается ее щеки – та едва теплая. Его вдруг охватывает страх. Старуха видела его мысли, наблюдала его сон.

Енту будит скрипнувшая дверь, она снова оказывается внутри себя. Где она была? Ента рассеянна, ей кажется, что она не сумеет вернуться на прочный деревянный пол этого мира. И хорошо. Здесь лучше – времена смешиваются и накладываются друг на друга. Как можно было поверить, что время течет? Время течет... Смешно. Теперь становится очевидно, что время кружится, точно юбки в танце. Точно вырезанный из липы и запущенный на столе волчок, привлекающий к себе детские взгляды.

Она видит этих детей с раскрасневшимися от тепла щеками, приоткрытыми ртами, сопливыми носами. Вот маленький Моше, рядом с ним Цифке, которая скоро умрет от коклюша, а это Янкеле, Яков и его старший брат Исаак. Маленький Янкеле не может удержаться, бьет по волчку, тот спотыкается, как пьяный, и падает. Старший брат сердито поворачивается к нему, Цифке начинает плакать. Тут появляется их отец, Лейб Бухбиндер, разгневанный тем, что его отвлекли от работы, хватает Янкеле за ухо и почти поднимает в воздух. Потом наставляет на него указательный палец и шипит сквозь зубы, что рано или поздно Яков получит за все свои художества; в довершение всего мальчика запирают в кладовке. На мгновение наступает тишина, затем Яков за деревянной дверью начинает кричать и кричит так долго, что становится невозможно это слушать и чем-либо заниматься, поэтому Лейб, побагровев от ярости, вытаскивает малыша и несколько раз бьет по лицу, так сильно, что у ребенка идет носом кровь. Лишь тогда отец ослабляет хватку и позволяет мальчику убежать на улицу.

К ночи ребенок не возвращается, начинаются поиски. Сначала ищут женщины, потом к ним присоединяются мужчины, и вскоре уже все родные и соседи ходят по деревне и расспрашивают, не видел ли кто Якова. Добираются даже до христианских хибар и там тоже спраши-

вают, но маленького мальчика с разбитым носом никто не видел. Деревня называется Королёвка. Если смотреть сверху, она напоминает трехлучевую звезду. Здесь родился Яков, вон там, на окраине, в доме, где до сих пор живет брат его отца, Якев. Иегуда Лейб Бухбиндер с семьей приехали сюда из Черновцов на бар-мицу младшего сына своего брата, а заодно чтобы встретиться с родственниками; приехали ненадолго, через несколько дней они собираются возвращаться обратно в Черновцы, куда перебрались несколько лет назад. Семейный дом, в котором они остановились, невелик, места мало; отец стоит возле кладбища, все полагают, что именно туда и побежал маленький Янкеле – небось прячется теперь за мацевами. Но как его отыскать, такого малыша, даже если в поисках помогут восходящая луна и ее серебристое сияние, залившее деревню. Мать мальчика, Рахель, едва жива от слез. Она так и знала, что этим все кончится: если вспыльчивый муж не возьмет себя в руки и не перестанет лупить Якова – так и случится.

– Янкеле! – восклицает Рахель, почти в истерике. – Ребенок пропал, что делать? Ты его убил! Собственного сына убил! – кричит она мужу. Хватается за забор и трясет, пока не вырывает колья из земли.

Одни мужчины бегут вниз, к реке, распугивая стайки гусей, пасущихся на лугу, им вслед летят маленькие белые перышки, которые наконец догоняют их и застревают в волосах. Другие бросаются на православное кладбище: ведь известно, что мальчик иногда туда ходит, на окраину деревни.

– Демон, диббук в этого ребенка вселился, их тут, возле кладбища, много. Видимо, один в него и забрался, – твердит отец, тоже уже изрядно напуганный. – Я ему покажу, когда вернется, – тут же добавляет он, чтобы скрыть страх.

– Что он натворил? – спрашивает брат Иегуды Лейба Бухбиндера измученную Рахель.

– Что натворил? Что натворил? – передразнивает его женщина, собираясь с силами для того, чтобы издать последний вопль. – Да что он мог натворить? Это же ребенок!

К рассвету уже вся деревня на ногах.

– У евреев ребенок пропал! У жидив дитына пропала! – перекликаются гои.

Берут палки, дубинки, вилы, такое ощущение, что они выступили навстречу войску каких-нибудь оборотней, подземных демонов, похитителей детей, кладбищенских дьяволов. Кому-то приходит в голову мысль пойти в лес за деревней – может, он туда, на Ксенжу Гуру, убежал?

В полдень несколько человек останавливаются у входа в пещеру – маленького, узкого, страшного; в форме вульвы. Никому не хочется туда забираться: проскользнуть внутрь – все равно что вернуться в женское лоно.

– Да не полез бы он туда, – убеждают они друг друга. Наконец один парень с блеклыми глазами, Бересь, набирается храбрости, к нему присоединяются еще двое. Сначала снаружи еще слышатся их голоса, потом затихают, будто мужчин поглотила земля. Через четверть часа появляется тот первый, бледноглазый, с ребенком на руках. Испуганные глаза малыша широко открыты, он икает от плача.

Вся звездчатая деревня говорит об этом событии еще несколько дней, а группа подростков, сплоченных общей игрой, обследует пещеру Якова – по большому секрету, какие обожают дети в этом возрасте.

В комнату, где лежит Ента, входит Хая. Склоняется над старухой, внимательно смотрит, не трепещут ли веки, не пульсирует ли в такт слабенькому сердцу какая-нибудь жилка на запавших висках. Обхватывает ладонями маленькую высохшую головку.

– Ента? – тихо спрашивает Хая. – Ты жива?

Что ей ответить? Правильно ли поставлен вопрос? Лучше бы Хая спросила так: ты видишь, ты чувствуешь? Как это получается, что ты двигаешься стремительно, словно мысль по волнующимся складкам времени? Хая должна знать, как спрашивать. Не пытаясь ответить,

Ента возвращается туда, где была мгновение назад... ну, может, не совсем, примерно – в чуть более позднее время; впрочем, это не столь существенно.

Иегуда Лейб Бухбиндер, ее сын, отец маленького Якова, импульсивен и непредсказуем. Ему всегда кажется, что кто-то его преследует за ересь. Он не любит людей. «Неужели нельзя жить, думая свое и делая свое?» – размышляет Ента. Именно к этому их приучали: вести мирное двойное существование, следуя по стопам Мессии. Нужно просто научиться быть абсолютно безмолвным, отводить глаза, жить скрытно. Разве это так сложно, Иегуда? Не проявлять своих чувств и не открывать своих мыслей. Пропавшие обитатели этого мира все равно ничего не поймут, любая истина столь же далека от них, как Африка. Они подчиняются законам, которые мы должны отвергнуть.

Бухбиндер – обыкновенный скандалист, он со всеми не в ладах. И сын в него пошел, точно такой же, как отец, оттого они так друг друга раздражают. Теперь взгляд Енты блуждает где-то высоко, под влажными брюхами облаков, и женщина без труда отыскивает сына, уснувшего над книгой. Масляная лампа гаснет. Черная борода накрывает буквы, на тощих, впалых щеках тень свила маленькие гнезда, веки трепещут: Иегуде снится сон.

Взгляд Енты колеблется – стоит ли входить в этот сон? Как это получается, что она всё видит одновременно, времена спутаны, да еще и мысли... она видит мысли. Ента облетает вокруг головы сына; по деревянному столу ползут муравьи, один за другим, идеальным строем. Проснувшись, Иегуда одним случайным движением сметает их на пол.

О дальнейших путешествиях Енты во времени

Енте вдруг вспоминается, как через несколько лет после случая в пещере Иегуда заехал к ней в Королёвку по пути в Каменец. Вместе с четырнадцатилетним Яковым. Отец тогда надеялся приохотить сына к коммерции.

Яков худой, неуклюжий, под носом пробиваются черные усы. Лицо всё в багровых прыщах. Некоторые с белыми гнойными кончиками, кожа некрасивая, воспаленная, блестящая; Яков очень этого стесняется. Отрастил длинные волосы и старается прикрыть ими лицо. Отец раздражается, частенько хватая сына за эти, как он выражается, «патлы» и откидывает за спину. Яков уже ростом с Иегуду, со спины их можно принять за братьев. Вечно враждующих. Когда мальчик дерзит, отец наотмашь бьет его по лицу.

В деревне только четыре семьи исповедуют подлинную веру. Вечером закрываются двери, задергиваются на окнах шторы, зажигаются свечи. Молодежь только участвует в бар-мицве, когда читают Зоар и поют псалмы. Потом под присмотром взрослого они переходят в другой дом. Лучше, чтобы их неокрепшие уши не слышали, а глаза не видели, что происходит, когда гасят свечи.

Теперь даже днем взрослые сидят при закрытых ставнях в ожидании вестей о Мессии, который вот-вот явится. Но вести запаздывают, приходят не сразу, а тут Мессия уже кому-то приснился – будто он идет с запада, а за ним сворачиваются, точно узорчатый коврик, поля и леса, деревни и города. И от мира остается свиток, покрытый крошечными, не прочитанными до конца значками. В новом мире будет другой алфавит, будут другие знаки, другие порядки. Может, снизу вверх, а не сверху вниз. Может, от старости к юности, а не наоборот. Может, люди будут появляться из земли, а в конце жизни исчезать в материнском лоне.

Грядущий Мессия – Мессия страдающий, скорбный, его пригибают к земле мировое зло и людские страдания. Возможно, он даже напоминает Иисуса, чье изуродованное тело висит на крестах в Королёвке почти на каждом перекрестке. Обычные евреи отводят взгляд от этой страшной фигуры, но они, саббатяны, правоверные, поглядывают в его сторону. Разве Шабтай Цви не был страдающим спасителем? Разве не бросили его в тюрьму, разве не унижали?

Пока родители перешептываются, жара сжигает в детских головках идеи проказ. Тогда появляется Яков – ни взрослый, ни ребенок. Отец только что выгнал его из дому. Лицо у Иегуды тоже побагровело, взгляд отсутствующий; он, должно быть, плакал над Зоаром, такое случается все чаще.

Яков, которого здесь называют Янкеле, собрал детей – постарше и совсем маленьких, христиан и евреев, – и все они от кладбища, рядом с которым стоит дядин дом, дружно направились к деревне: по песчаной дороге, обочины которой поросли гусиной лапчаткой, затем вышли на тракт и миновали корчму еврея Соломона по прозвищу Черный Шломо. Теперь поднимаются на холм, к костелу и деревянной плебании, потом идут дальше, мимо католического кладбища; вот уже последние дома и околица.

С холма деревня напоминает сад, разбитый среди полей. Яков вывел из этого сада нескольких мальчиков и двух девочек. Они поднялись на холм над деревней, небо чистое, приближающийся закат золотит небосклон, и теперь входят в небольшой лесок – здесь растут редкие деревья, какие-то, пожалуй, необычные. И вдруг все делается непохожим на себя, чужим, снизу уже не доносится пение, голоса теряются в мягкости зеленых листьев, таких зеленых, что глазам больно. «Это сказочные деревья?» – спрашивает один из малышей, а Яков начинает смеяться и отвечает, что здесь всегда весна и листья никогда не желтеют, никогда не опадают. Говорит, что тут находится пещера, где покоится Авраам, чудесным образом перенесенная из Земли Израиля – только ради него, Якова, чтобы он мог ее показать. А рядом с Авраамом лежит Сарра, его жена и сестра. И там, где Авраам, время не течет, и если войти в эту пещеру, посидеть там часок, а потом выйти, окажется, что на земле прошло сто лет.

– Я родился в этой пещере, – заявляет он.

– Неправда, – решительно возражает одна из девочек. – Не слушайте его. Он вечно что-нибудь сочиняет.

Яков смотрит на нее с иронией. Девочка мстит за этот иронический взгляд.

– Прыщавая морда, – ехидно говорит она.

Ента уносится в прошлое, где Янкеле еще маленький и едва успокоился после рыданий. Она укладывает его спать и смотрит на других детей, лежащих вповалку на кровати. Все спят, кроме Янкеле. Мальчик непременно должен пожелать всем окружающим «спокойной ночи». Он шепчет ни себе, ни ей, все тише, но с волнением: «Спокойной ночи, бабушка Ента, спокойной ночи, брат Исаак, и сестра Хана, и двоюродная сестра Цифка, спокойной ночи, мама Рахель»; а потом перечисляет по именам всех соседей и еще вспоминает тех, кого встретил днем, и им тоже желает спокойной ночи; Енте уже кажется, что это никогда не кончится, ведь мир настолько огромен, что, даже отраженный в такой маленькой головке, остается бесконечным и Янкеле будет бормотать до утра. Потом малыш желает спокойной ночи собакам, кошкам, телкам, козам и, наконец, предметам. Тазу, потолку, кувшину, ведрам, кастрюлям, тарелкам, ложкам, перинам, подушкам, цветам в горшках, занавескам и гвоздям.

Все в комнате уснуло, огонь в печи потускнел, превратившись в ленивый красный жар, кто-то похрапывает, а ребенок все бормочет и бормочет, все тише, уже еле слышно, но в его речь вкрадываются странные ошибки и оговорки, и нет никого, кто мог бы их исправить, так что эта литания постепенно странным образом искривляется, принимая облик волшебного, таинственного заклинания, произносимого на древнем, забытом языке. Наконец детский голосок стихает окончательно, и мальчик засыпает. Тогда Ента осторожно встает, с нежностью глядит на этого странного ребенка, которого следовало бы назвать не Яков, а Горе луковое, и видит, как его веки нервно подрагивают – значит, малыш уже полностью перенесся в сон и принялся шалить там.

О страшных последствиях исчезновения амулета

После свадьбы, под утро, когда гости уже спят по углам, а опилки в большой комнате растоптаны в плотную пыль, в комнате Енты появляется Элиша Шор. Он устал, глаза налились кровью. Элиша садится на постель, раскачивается взад-вперед и шепчет:

– Все закончилось, Ента, ты можешь уйти. Не сердись, что я тебя удерживал. Другого выхода не было.

Он осторожно вытаскивает у нее из-за пазухи веревочки и ремешки, все разом, ищет амулет, тот самый, единственный, перебирает вновь и вновь, все еще надеясь, что просто не заметил, что усталые глаза пропустили главное. Элиша делает это несколько раз – пересчитывает крохотные терафимы⁶⁴, коробочки, мешочки, костяные таблички с нацарапанными на них заклинаниями. Такие носят все, но у старушек их всегда больше. Вокруг Енты наверняка кружат десятки ангелов, духов-защитников и других, безымянных. Но его амулета нет. Осталась веревочка, пустая. А заклинание исчезло. Как это могло случиться?

Элиша Шор моментально трезвеет, движения становятся лихорадочными. В конце концов он начинает ощупывать старуху. Приподнимает обмякшее тело и шарит под ее спиной, бедрами, натыкается на худые конечности бедной Енты, на ее большие костлявые ступни, которые торчат из-под юбки, как неживые, ищет в складках сорочки, проверяет ладони, наконец, совсем уже перепуганный, Элиша роется в простынях, подушках, перинах и одеялах, ищет под кроватью и вокруг нее. Может, упал?

Нелепо выглядит этот благообразный старец, копающийся в старухиной постели, словно принял ее за малолетку и неуклюже пытается помогать.

– Ента, скажи, что случилось? – спрашивает он пронзительным шепотом, точно обращаясь к ребенку, совершившему ужасную провинность, но та, конечно, не отвечает, только веки дрожат, и глазные яблоки делают несколько движений взад-вперед, а губы трогает неуверенная улыбка.

– Что ты там написал? – шепчет Хая отцу, добиваясь ответа. Сонная, в ночной рубашке и накинутом на голову платке, она прибежала сюда по его зову. Элиша расстроен, морщины на лбу образуют плавные волны, их рисунок притягивает взгляд Хаи. Отец всегда так выглядит, когда чувствует себя виноватым.

– Ты сама знаешь, что я написал, – говорит он. – Я ее остановил.

– Ты ей на шею повесил?

Отец кивает.

– Отец, надо было положить это в ящик и запереть на ключ.

Элиша беспомощно пожимает плечами.

– Ты точно ребенок, – говорит Хая одновременно нежно и сердито. – Как ты мог? Просто надел ей на шею? И где это теперь?

– Нету, исчезло.

– Ничто не исчезает просто так!

Хая начинает искать, но видит, что это бессмысленно.

– Исчезло, я уже искал.

– Она его съела, – говорит Хая. – Проглотила.

Отец молчит, потрясенный, а потом беспомощно спрашивает:

– Что можно сделать?

– Не знаю. Кто еще об этом знает? – спрашивает дочь.

⁶⁴ Маленькие статуэтки – антропоморфные идолы, почитавшиеся как домашние божества.

Элиша Шор задумывается. Снимает меховую шапку и трет лоб. Волосы у него длинные, редкие и влажные от пота.

– Теперь она не умрет, – говорит Шор дочери с отчаянием в голосе.

Лицо Хаи приобретает странное недоверчиво-удивленное выражение, а потом с каждой минутой веселеет. Сначала она смеется тихонько, потом все громче и громче, наконец ее низкий, глубокий смех заполняет маленькую комнату и проникает сквозь деревянные стены. Отец затыкает Хае рот.

Что гласит Книга Зоар

Ента умирает и не умирает. Именно так: «умирает и не умирает». Так объясняет это мудрая Хая.

– В точности как в Зоаре, – говорит она со скрытым раздражением, потому что народ раздул из этого невесть что. Рогатинцы начинают приходить к ним в дом и заглядывать в окна. – В Книге Зоар много таких выражений, на первый взгляд противоречивых, но, если присмотреться внимательнее, становится ясно, что есть вещи, непостижимые для разума и неподвластные нашим порядкам. Разве не так начинает свою речь Старец из Зоара? – Хая говорит об этом несколькими утомленным гостям, самым доверенным, явившимся в надежде на чудо. Оно было бы очень кстати. Среди них Израиль из Королёвки, внук Енты, который привез ее сюда. Он, похоже, встревожен и обеспокоен больше всех.

Хая продолжает:

– Кто те существа, которые когда поднимаются – опускаются, а когда опускаются – поднимаются; и двое, являющиеся одним, и один, являющийся тремя?

Слушатели кивают, будто именно это и ожидали услышать, и слова Хаи их успокоили. Лишь Израиль, видимо, недоволен ответом, потому что на самом деле не знает, жива Ента или мертва. Он хочет спросить и начинает:

– Но...

Хая, завязывая под подбородком концы толстого шерстяного платка – она замерзла, – раздраженно отвечает:

– Людям всегда хочется, чтобы все было просто. Так или эдак. Белое или черное. Дураки. Ведь мир состоит из бесчисленного множества оттенков серого. Можете увезти ее домой, – говорит она Израилю.

Затем быстро пересекает двор и скрывается за дверью пристройки, где лежит Ента.

Днем снова приходит врач Ашер Рубин и внимательно осматривает бабушку. Спрашивает, сколько ей лет.

– Много, – отвечают все хором.

Наконец Рубин говорит, что такое бывает, это кома, и чтобы с Ентой не вздумали, не дай Боже, обращаться как с мертвой – она просто спит. Но, судя по выражению его лица, Ашер сам не слишком верит в то, что говорит.

– Скорее всего, она сама умрет во сне, – добавляет он словно бы в утешение.

После свадьбы, когда гости разъезжаются и от деревянных колес у дома Шоров уже образовались глубокие колеи, Элиша подходит к повозке, на которую положили Енту. Когда никто не видит, он тихо говорит старухе:

– Не сердись на меня.

Разумеется, она ему не отвечает. Подходит внук Енты, Израиль. Он обижен на Шора – мог бы оставить бабушку у себя и позволить ей умереть здесь. Они поругались с Соблой – жена не хочет расставаться с бабушкой. Теперь Собла шепчет ей: «Бабушка, бабушка». Но та не отвечает и вообще никак не реагирует. Руки у Енты холодные, их растирают, но они не

согреваются. Однако дыхание ровное, хоть и замедленное. Ашер Рубин несколько раз измерял пульс – все не мог поверить, что он такой слабый.

Рассказ Песеле о подгаецком козле и странной траве

Элиша дает им еще одну повозку, дно которой выстлано сеном. Теперь все семейство из Королёвки расселось по двум телегам. Моросит дождь, и коврики, которыми накрыли старуху, промокают, так что мужчины сооружают временный навес. Лежащая под ним Ента в самом деле напоминает труп, поэтому встречающиеся, увидав эту картину, сразу принимаются молиться, а гои еще и крестятся.

Во время стоянки в Подгайцах правнучка Енты Песеле, дочка Израиля, вспоминает, как три недели назад они остановились здесь передохнуть и бабушка, еще здоровая, в сознании, рассказывала им историю о подгаецком козле. Сейчас Песеле, всхлипывая, пытается пересказать ее так же, как это делала Ента. Ее слушают молча, и все вдруг осознают – и это вызывает новый поток слез: то были последние слова Енты. Хотела ли она что-то им сказать этой историей? Поведать какую-нибудь тайну? В тот момент история казалась забавной, теперь же видится странной и непонятной.

– Неподалеку, в Подгайцах, возле замка живет козел, – тихо говорит Песеле. Женщины шикают друг на друга. – Сейчас вы его не увидите, потому что он не любит людей и живет один. Это очень ученый козел, мудрое животное, повидавшее на своем веку много добра и зла. Ему триста лет.

Все невольно озираются. Но видят только высохшую коричневую траву, гусиный помет и величественные очертания подгаецкого замка. Должно быть, все это имеет какое-то отношение к козлу. Песеле обдергивает юбку так, чтобы она прикрывала дорожные туфли, кожаные, с острыми носками.

– В таких развалинах растет странная трава, Божья, ее никто не сеет и никто не косит. Оставшись без человеческого внимания, трава также обретает собственную мудрость. Так что козел питается только этой травой и ничего больше не ест. Он – назорей⁶⁵, поклявшийся не стричь волосы и не касаться тел мертвых, и он знает эту траву. Козел никогда не пробовал никакой другой травы, всегда питался только этой, мудрой, растущей возле замка в Подгайцах. И поэтому тоже стал мудрым, а его рога все росли и росли. Однако это были не обычные рога, такие, как у прочей скотины. Гибкие, витые, скрученные. Мудрый козел прятал свои рога. Днем он носил их свернутыми, так что никто не замечал ничего необычного. А ночью поднимался вон туда, на широкое крыльцо замка, к разрушенному двору, и оттуда касался рогами небес. Поднимал их высоко-высоко, вставал на задние ноги, чтобы стать еще выше, наконец цеплялся кончиками рогов за край молодого, рогатого, как и он, месяца и спрашивал: «Как дела, месяц? Не пора ли прийти Мессии?» Месяц взглядывал на звезды, и те ненадолго замирали. «Мессия уже пришел, он в Смирне, разве ты этого не знаешь, мудрый козел?» – «Я знаю, милый месяц. Просто хотел удостовериться».

Так они разговаривали всю ночь, а утром, с восходом солнца, козел сворачивал свои рога и продолжал щипать мудрую траву.

Песеле умолкает, а ее мать и тетки раздражаются рыданиями.

⁶⁵ В иудаизме – человек, принявший обет воздерживаться от употребления винограда и произведенных из него продуктов (в первую очередь вина), не стричь волос и не прикасаться к умершим.

Ксендз Хмелёвский пишет пани Дружбацкой. Январь 1753 года, Фирлеюв

После Вашего отъезда, милостивая госпожа, мне в голову приходит множество вопросов и даже целые фразы, которые я не имел возможности высказать во время нашей встречи, а поскольку Вы позволили мне писать Вам, воспользуюсь этим, дабы опровергнуть некоторые Ваши упреки. Погода в Фирлеюве уже совершенно зимняя, так что я лишь присматриваю за печкой да просиживаю целыми днями над бумагами, которые, как и дым, беспощадны к моим глазам.

Вы спрашиваете: зачем латынь? И, подобно прочим женщинам, выступаете за более широкое использование в письме польской речи. Я отнюдь не противник польского языка, но как на нем писать, если слов не хватает?

Не лучше ли сказать «риторика», чем «красноречие»? «Философия», чем «любомудрие»? «Астрономия», чем «звездная наука»? И времени занимает меньше, и язык не приходится ломать. И Музыке без латыни не обойтись: например, «тоны», «клавиши», «консонансы» – все это слова из латинского языка. И если поляки – что теперь становится *invalut Usus*⁶⁶, – отказавшись от латыни или полонизированных терминов, станут говорить и писать исключительно на польском, им придется вернуться к забытой и невнятной славянщине из «Песни святого Войцеха»⁶⁷:

...Матко зволена Мария

Зычи ж нам, спусти ж нам...

Но что это значит? Что за «зволена», почему «зычи»? Разве хотели бы Вы, милостивая госпожа, называть «дормиторий» «спальней»? Не верю! «Столовая» вместо «рефектория», «лицо» вместо «аверса»? Как бы это звучало!.. Представьте в официальном документе: «Договоры должны соблюдаться». Ведь куда лучше: «*Pacta sunt servanda*». Сравните: «Открылся образ несчастья в Польше, на который в Европе взирали многие зрители» и «Открылся театр несчастья в Польше, в Европе имевший множество зрителей». Не смешно ли: «заставил себя бояться» вместо «держал в решпекте»? Послушайте, как звучит фраза: «На него посыпались несчастья»! Ведь гораздо лучше было бы: «Фортуна от него отвернулась». Что Вы думаете об этом?

Повсюду на свете можно объясниться при помощи латыни. Только язычники и варвары избегают латинского языка.

Польский язык несколько неотесан и звучит по-крестьянски. Он подходит для описания мира природы и в лучшем случае сельского хозяйства, но трудно посредством его выразить сложные проблемы высшего, духовного порядка. На каком языке человек говорит, так он и мыслит. А польская речь туманна и неконкретна. Годится скорее для описания погоды во время путешествия, чем для дискуссий, требующих напряжения ума и ясности изложения. Вот для поэзии, дорогая и любезная моя госпожа, Муза Наша Сарматская, подходит, ибо поэзия расплывчата и неопределенна. Хотя в самом деле при чтении доставляет некоторое удовольствие, выразить которое непросто. Я знаю это, поскольку заказал у Вашего издателя Ваши рифмы и премного ими наслаждался, хоть и не все мне кажется прозрачным и очевидным, о чем ниже.

⁶⁶ Повсеместная практика (лат.).

⁶⁷ Т. е. гимна «Богородица», древнейшего дошедшего до нас поэтического западнорусского и польского текста, содержащего многочисленные архаизмы. Автор неизвестен, существует легенда об авторстве св. Войцеха.

Я выступаю за общий язык; пусть даже он будет немного упрощен, но так, чтобы все на свете его понимали. Только так люди получают доступ к знаниям, ведь и литература – своего рода знание, она нас учит. Например, Ваши, милостивая госпожа, стихи способны научить внимательного читателя тому, что растет в лесу, какова лесная флора и фауна, а также обучить хозяйственным делам и рассказать о том, что произрастает в саду. При помощи стихов можно экзерцировать, то есть практиковаться, упражняться в разного рода полезном мастерстве, а самое главное – также постичь, как мыслят другие, что весьма ценно, ибо в противном случае можно было бы предположить, что все думают одно и то же, а это неверно. Всякий мыслит по-своему и при чтении воображает свое. Иногда меня тревожит, что и мои собственные труды, моей собственной рукой написанные, будут поняты иначе, нежели мне бы того хотелось.

А потому, достопочтенная госпожа, мне представляется, что книгопечатание затем и было изобретено и черным по белому установлено, чтобы использовать его лишь во благо, дабы знания наших предков увековечивать, накапливать, так чтобы доступ к ним имел каждый, включая самых малых, как только они выучатся читать. Знания должны быть подобны чистой воде – безвозмездно и для всех.

Я долго думал, каким образом мог бы Вам, достопочтенная госпожа, доставить удовольствие своей корреспонденцией, ведь столько всяких событий вокруг вас, наша Сафо, происходит. А потому решил во всякое свое письмо включать различные *miranda*, то есть диковинки, кои обнаруживаю в своих книгах, чтобы вы могли блеснуть ими в добром обществе, в которое Вы, в отличие от меня, вхожи.

Итак, сегодня начну с Чертовой горы, которая находится неподалеку от Рогатина, в поле, в восьми милях от Львова. На самую Пасху 1650 года, 8 Aprilis⁶⁸, перед битвой с казаками под Берестечком, она была сдвинута со своего места *motu terae* – землетрясением, то есть *ex Mandato* – иными словами, по воле Всевышнего. Простолюдины, в геологии не сведущие, полагают, что это черти хотели Рогатин завалить горой, да только петух своим криком силу у них отобрал, отсюда и название. Я вычитал это у Красуского и Жончинского, оба Soc. Jesu⁶⁹, так что источник надежный.

⁶⁸ Апреля (лат.).

⁶⁹ Т. е. иезуиты (лат. Societas Jesu – Общество Иисуса).

7

История Енты

Отец Енты, Майер из Калиша, был одним из праведников, сподобившихся увидеть Мессию.

Это произошло до рождения Енты, во времена злые и подлые, когда все ожидали спасителя мира, ибо человеческих несчастий было так много, что казалось невозможным, чтобы мир мог продолжить свое существование. Столько боли ни один мир не вынесет. Ее уже невозможно было объяснить или понять, никто не верил, что в этом по-прежнему имеется Божий промысел. Впрочем, наиболее зоркие, как правило пожилые женщины, много повидавшие в своей жизни, замечали, что механизм мира стал давать сбой. Например, на мельнице, куда отец Енты возил зерно, однажды ночью лопнули жернова, все до единого. А желтые венчики одуванчиков образовали как-то поутру букву алеф. На закате солнце делалось оранжевым, кровавым, так что все на земле казалось бурым, словно от засохшей крови. Осока у реки выросла такая острая, что резала ноги. Полынь стала настолько ядовитой, что сам ее запах валил с ног взрослого человека. Да одна только резня Хмельницкого⁷⁰ – разве могла она быть частью Божьего плана? Страшные слухи о казаках, распространявшиеся начиная с 1648 года по разным странам, все увеличивающееся количество беженцев, вдовцов и агун⁷¹, детей-сирот, калек – все это, несомненно, свидетельствовало о том, что конец близок и мир вот-вот породит Мессию: родовые схватки уже начались и, как было сказано, старый закон будет отменен.

Отец Енты приехал в Польшу из Регенсбурга, откуда семья была изгнана за все те же извечные еврейские грехи. Он поселился в Великой Польше, где, подобно многим своим соотечественникам, торговал пшеницей и переправлял отменное золотое зерно в Гданьск и дальше по свету. Дела шли хорошо, и семья ни в чем не нуждалась.

Он еще только начинал, когда в 1654 году разразилась эпидемия и моровое поветрие унесло множество людей. А потом пришли холода, которые чуму, правда, заморозили, но продолжились так долго, что выжившие замерзли в собственных постелях. Море превратилось в лед, и можно было пешком дойти до Швеции, движение в портах остановилось, домашние животные гибли, дороги засыпал снег, все замерло. Поэтому весной сразу пошли слухи, что все беды, мол, из-за евреев. В стране начались судебные процессы, а евреи, пытаясь защититься, послали за помощью к папе римскому, но, прежде чем посланец успел вернуться обратно, появились шведы и принялись грабить города и деревни. И снова досталось евреям – потому что иноверцы.

Поэтому отец Енты увез семью из Великой Польши на восток, во Львов, к родственникам, у которых надеялся обрести покой и пристанище. Здесь они оказались вдали от мира, вести приходили с запозданием, а земли были необычайно плодородными. Как в тех колониях, куда охотно эмигрировали жители западных краев, здесь каждый мог найти для себя место. Но лишь на время. Потому что после изгнания шведов в развалинах и на площадях разграбленных городов вновь стали задумываться о том, кто виноват во всех несчастях Речи Посполитой, и, как правило, приходили к выводу, что это – евреи и иноверцы, вступившие в заговор с захватчиком. Сперва преследовали ариан, а затем начались еврейские погромы.

⁷⁰ Восстание Богдана Хмельницкого сопровождалось еврейскими погромами (1648–1649 гг.).

⁷¹ Термин талмудического права для обозначения женщины, оставшейся без мужа, но не получившей развода, «соломенная вдова».

Дед Енты по материнской линии был родом из Казимежа под Краковом. Он держал небольшую мастерскую, занимался изготовлением фетровых шляп. Летом 1664 года по христианскому календарю, или 5425 года по еврейскому, во время беспорядков погибло сто двадцать девять человек. Началось с того, что какого-то еврея обвинили в краже гостии. Магазин деда оказался полностью разграблен и разрушен. Откупившись остатками имущества, он посадил всю семью на телегу и отправился на юго-восток, во Львов, где жила родня. Мысль была мудрая: казачья стихия уже отбушевала во время восстания Хмельницкого в 1648 году. Не может быть, чтобы гезера – великая катастрофа – повторилась. Это как с местом, куда ударила молния, – оно считается самым безопасным.



Ris 132. dziadek Jenty

Семья поселилась в деревне неподалеку от Львова. Земли тут были богатые: плодородная почва, густые леса, рыбные реки. Ясновельможный пан Потоцкий держал все это хозяйство в своих крепких руках. Вероятно, дед решил, что нет больше на земле места, где можно укрыться, и лучше всего положиться на волю Божью. А тут оказалось хорошо. Возили из Валахии шерсть для фетра, а заодно и другие товары, благодаря которым дела быстро пошли на лад и семья встала на ноги: дом с фруктовым садом, при доме небольшая мастерская, вокруг расхаживают гуси да куры, в траве зреют желтые дыни, а из слив, как только ударят заморозки, гнали сливовицу.

Вот тогда, осенью 1665 года, вместе с товарами из Смирны пришла весть, взволновавшая всех польских евреев, – о появлении Мессии. Каждый, кто это слышал, немедленно умолкал и пытался вообразить смысл короткой фразы: пришел Мессия. Ведь это не обычная фраза. Это фраза окончательная. Кто ее выговорит, у того словно пелена с глаз падет – и он увидит мир совершенно иным.

В самом деле, разве мало было предвестий конца? Эти чудовищные желтые корневища крапивы, которые под землей коварно оплетали корни других растений, неправдоподобно пышный в этом году выюнок, чьи побеги были крепки, как веревки... Зелень поднималась по стенам домов, по коре деревьев, такое ощущение, что она подбиралась к человеческому горлу. Яблоки со множеством семян, яйца с двумя желтками, хмель, который рос так быстро, что придушил телку.

Мессию зовут Шабтай Цви. Он собрал вокруг себя уже тысячи людей, они съезжаются со всего мира и вместе с Мессией отправятся в Константинополь, где ему предстоит сорвать с головы султана корону и объявить себя царем. При нем – пророк, Натан из Газы, человек весьма ученый, который записывает слова Мессии и рассылает евреям по всему свету.



Ris 100. Sabbataj Cwi kadr

И львовская община тут же получила письмо от краковского раввина Баруха Пейсаха о том, что ждать нечего: следует как можно скорее ехать в Турцию, дабы стать свидетелями последних дней. Быть в числе первых, которые увидят.

Майера, отца Енты, увлечь подобными химерами было непросто.

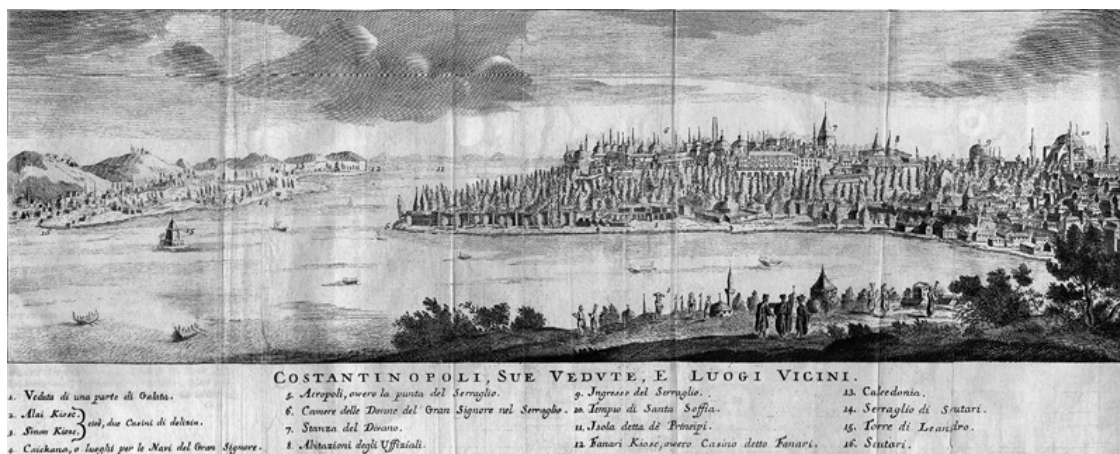
Если все так, как вы говорите, Мессия являлся бы в каждом поколении, каждый месяц – то в одном месте, то в другом. Он рождался бы после каждого беспорядков и каждой войны. Вмешивался после всякого несчастья. А сколько этих несчастий уже было? Бесчисленное множество.

Да-да, кивали головами те, кто его слушал. Он прав. Но все чувствовали, что на сей раз дело обстоит иначе. И снова началась игра в поиск знаков: облака, отражения в воде, форма снежинок. Майер решил на путешествие из-за муравьев, которых заметил, когда напряженно размышлял над всем этим: они ползли по ножке стола, спокойно и дисциплинированно, добивались до столешницы, там один за другим собирали крошки сыра, потом так же – спокойно и дисциплинированно – возвращались. Это Майеру понравилось, и он счел движение муравьев

знаком. Отец Енты уже скопил достаточно денег и товаров, а поскольку пользовался репутацией человека рассудительного и мудрого, без труда нашел себе место в этой грандиозной торговой экспедиции, которая на самом деле должна была привести к Шабтаю Цви.

Ента родилась спустя несколько лет после этих событий, а потому не уверена, досталась ли ей толика благодати, которой вкусили глаза отца, когда он глядел на Мессию. Он и его товарищи – Моше Халеви, его сын и пасынок из Львова, и Барух Пейсах из Кракова.

Из Кракова во Львов, из Львова через Черновцы на юг, в Валахию, и чем ближе к цели, тем теплее, тем меньше снега, а воздух ароматнее и мягче, рассказывал позже отец. По вечерам они гадали, как бывает, когда является Мессия. И приходили к выводу, что несчастья прошлых лет на самом деле принесли пользу, ибо в них был заложен смысл, они предвещали приход спасителя, как родовые схватки предвещают появление на свет нового человека. Ведь мир должен страдать, рождая Мессию: нарушаются все законы, теряют силу человеческие договоренности, обещания и клятвы рассыпаются в прах. Брат нападает на брата, сосед ненавидит соседа, люди, жившие бок о бок, по ночам бросаются друг на друга с ножом и пьют кровь.



Ris Konstantynopol2

Делегация из Львова обнаружила Мессию в тюрьме на Галлипольском полуострове. Пока они добирались из Польши до южных краев, султан, обеспокоенный беспорядками среди евреев и планами Шабтая Цви, схватил его и заключил в крепость.

Мессия в тюрьме! Как это? Невероятно! Всеми, кто прибыл тогда в Стамбул, не только из Польши, овладела великая тревога. Тюрьма! Мессия в тюрьме, неужели это возможно, разве это соответствует пророчествам, ведь у нас есть Исаия?

Однако позвольте, что это за тюрьма? И тюрьма ли? И вообще, что это значит – «тюрьма»? Ведь Шабтай Цви, щедро снабжаемый верующими, живет в крепости как во дворце. Мессия не ест ни мяса, ни рыбы; говорят, он питается одними фруктами – специально для него собирают самые свежие и привозят на корабле. Он любит гранаты, длинными нежными пальцами ковыряет их зернистое нутро, извлекает рубины семян и жует своими священными устами. Ест Мессия мало – несколько зернышек граната; очевидно, его тело черпает жизненную силу прямо от солнца. Говорят еще, по большому секрету, который, однако, распространяется быстрее, чем если бы это был секрет маленький, что Мессия – женщина. Те, кому довелось стоять совсем рядом, видели женскую грудь. Кожа у него гладкая и розовая, и пахнет от него как от женщины. В крепости в распоряжении Мессии множество придворных и усталые ковры залы, где он дает аудиенции. Разве это можно назвать тюрьмой?

Вот какое положение дел обнаружила делегация. Сначала пришлось ждать полтора дня – столько было желающих попасть на аудиенцию к Мессии. Вокруг шумела возбужденная разноязыкая толпа. Строились предположения – что теперь будет... Евреи с юга, смуглые, в темных

тюрбанах, и евреи из Африки, раскрашенные как стрекозы. Забавные евреи из Европы, все в черном, с жесткими воротничками, собирающими пыль, как губка воду.

Пришлось день поститься, а затем вымыться в бане. Наконец им выдали белые одежды и удостоили разрешения предстать перед Мессией. Это был праздничный день, установленный по новому мессианскому календарю. Поскольку Шабтай Цви отменил все традиционные еврейские праздники, действовал уже не Моисеев закон, а другие, еще не воплощенные в слове, согласно которым непонятно было, как себя вести и что говорить.

Они увидели его сидящим на стуле, украшенном богатой резьбой, в алых одеждах – вокруг стояли благочестивые мудрецы, которые обратились к ним с вопросом: зачем они пришли и чего хотят от спасителя?

Было решено, что говорить будет Барух Пейсах, и он начал рассказывать обо всех бедах польских земель и одновременно бедах польских евреев, а в качестве доказательства представил летопись несчастий, составленную Майером из Щебжешина, по-еврейски называвшуюся «Цок Ха-итим», или «Бремя времен», опубликованную за несколько лет до этого. Но когда Барух слезливым голосом заговорил о войнах, болезнях, погромах и человеческой несправедливости, Шабтай внезапно прервал его и, указывая на свои алые одежды, громко воскликнул: «Разве вы не замечаете цвет мести?! Я одет в алое, как говорит пророк Исаия: день мести – в моем сердце, а год спасения уже настал!» Все склонились к земле – так неожиданно и так мощно прозвучал этот голос. Потом Шабтай сорвал с себя сорочку и отдал ее Исаие, сыну Давида Халеви, а остальным раздал кусочки сахара и велел положить в рот: «Да пробудится в них юношеская сила». Тогда Майер хотел сказать, что им нужна не юношеская сила, а мирная жизнь, но Мессия крикнул: «Замолчи!» Майер, по своему обыкновению, поглядывал украдкой на спасителя и видел его прекрасное, нежное лицо, мягкие черты и необычайной красоты глаза, окаймленные ресницами, влажные и мрачные. И видел, как темные пухлые губы Мессии еще дрожат от негодования и ходят желваки под смуглой кожей щек – лишенных щетины, гладких и, наверное, приятных на ощупь, точно превосходно выделанный нубук. И его очень удивило, что грудь Мессии действительно была как будто женская, выступающая, с коричневыми сосками. Тогда кто-то поспешно накинул на Мессию шаль, но вид этой обнаженной груди остался в памяти Майера на всю оставшуюся жизнь, а потом, как это случается с запечатлевшимися в памяти картинками, был раздроблен на слова и из этих слов сложен заново в головах его детей.

Скептически настроенный Майер ощутил словно бы укол в сердце, почувствовал, что растроган, и в его душе, должно быть, осталась глубокая рана, потому что он передал эту рану своим детям, а затем внукам. Отец Енты, Майер, был братом деда Элиши Шора.

А дальше что? Больше ничего. Они записали все в точности, каждое движение и каждое слово. Первую ночь сидели молча, не понимая, что на самом деле с ними произошло. Это был какой-то знак? Спасутся ли они сами? Способны ли перед лицом конца времени объять разумом происходящее? Ведь все иначе, наоборот.

Наконец, покончив с делами, они в странном, возвышенном состоянии духа вернулись домой, в Польшу.

Весть об отступничестве Шабтая поразила их как гром среди ясного неба. Это случилось 16-го дня месяца элул 5426 года, или 16 сентября 1666 года, но узнали они уже дома. В тот день неожиданно, слишком рано, выпал снег и засыпал еще не убранный урожай: тыкву, морковь и свеклу, которые рассчитывали дожить в земле до старости.

Весть разносили посланцы в разорванном от горя платье и с лицами, покрытыми дорожной пылью. Они даже не останавливались – причитая, шли от одной деревни к другой. Злой султан, правитель неверных, пригрозил Шабтаю смертью, если он не примет ислам. Он угрожал отрубить ему голову. И Мессия согласился.

Сначала все рыдали и недоумевали. Затем в домах воцарилась тишина. Один, два, три дня никто не спешил открывать рот. Что сказать? Что мы в очередной раз оказались слабы,

обмануты, что Бог нас оставил? Мессия повержен? А ведь он был призван сбросить с престола султана, получить власть над всем миром, возвеличить униженных. И снова над бедными подольскими деревнями клочьями разорванного шатра нависли огромные серые фланелевые тучи. Майеру казалось, что мир загнивает, что его разъедает гангрена. Сидя за громоздким деревянным столом, посадив на колени младшую дочку, мелкую, словно горошинка, он, как и все остальные, расписывал гематрические столбцы. Лишь когда ударили первые морозы, появились письма и объяснения, и не проходило недели, чтобы какой-нибудь странствующий торговец не принес новых известий о спасителе. В те дни даже обычный молочник, развозивший молоко и масло по окрестным деревням, становился мудрецом. И на чем попало пальцем рисовал схемы спасения.

Из этих лихорадочных, отрывочных донесений следовало сложить целое, справиться в книгах, спросить совета у мудрецов. И постепенно той зимой стало проклевываться новое знание, к весне набравшееся сил и окрепшее, точно свежий побег. Как мы могли так ошибаться? Это печаль нас ослепила, сомнения, недостойные человека праведного. Да, он принял веру Магомета, принял – но не по-настоящему, а для виду; это его образ, Цель, то есть тень, облачилась в зеленый тюрбан, а Мессия спрятался и будет дожидаться лучших времен, которые скоро наступят – уже вот-вот, это вопрос нескольких дней.

У Енты до сих пор стоит перед глазами палец, рисующий в рассыпанной по столу муке Древо Сфирот⁷², но одновременно она сейчас находится в деревне под Бережанами, восемьдесят лет назад. Тот день, когда ее зачали. Лишь теперь она может его увидеть.

Способна ли Ента в этом странном состоянии, в котором она оказалась, инициировать какие-то мелкие дела? Влиять на ход событий? Есть ли у нее такая возможность? Если есть, она бы изменила только один этот день.

Ента видит молодую женщину, идущую по полям с корзиной в руке, в корзине два гуся. Их шеи раскачиваются в такт ее шагов, глаза-бусинки смотрят по сторонам с доверчивостью, свойственной домашней птице и скотине. На опушке леса появляется конный казачий дозор, всадники скачут, они все ближе и ближе. Убегать поздно, женщина стоит озадаченная, заслоняется корзиной с гусями. Лошади окружают ее, напирая со всех сторон. Мужчины, как по команде, спешиваются; все происходит в молчании и очень быстро. Они легонько толкают ее, женщина опускается на траву, корзина падает, гуси выбираются наружу, но не уходят, а только шипят – угрожающе, предостерегающе – и наблюдают за происходящим. Двое держат лошадей, третий развязывает пояс широких сборчатых шаровар и ложится на женщину сверху. Затем они меняются, движения все ускоряются, становятся торопливыми, словно по долгу службы, – в сущности, не похоже, чтобы все это доставляло мужчинам удовольствие. Сперма вливается внутрь, потом стекает на траву. Последний немного сжимает женщине шею, и она уже примиряется с мыслью, что сейчас умрет, но тут товарищ подает мужчине поводья, и он вскакивает в седло. Еще мгновение смотрит на женщину, словно желая запомнить свою жертву. Затем они поспешно уезжают.

Женщина сидит, раскинув ноги, возмущенные гуси смотрят на нее, неодобрительно гогоча. Она вытирает между ногами подолом, потом рвет листья и траву. Наконец бежит к речке, высоко задирает юбки, садится в воду и выталкивает из себя семя. Гуси думают, что им тоже можно, и тоже бегут в воду. Но прежде чем они успевают в нее войти – неторопливо, как и подобает гусям, – женщина ловит птиц, сажает обратно в корзину и возвращается на тропинку. Перед деревней она замедляет шаг, еще и еще, наконец останавливается совсем, будто коснулась невидимой границы.

Это мать Енты.

⁷² Совокупность десяти Сфирот, образующая Древо Сфирот, понимается в каббале как динамическое единство, в котором раскрывается жизнедеятельность Бога.

Наверное, поэтому она всю жизнь внимательно и подозрительно наблюдала за дочерью. Ента привыкла к сдержанному взгляду, который мать бросала на нее, что-нибудь делая за столом, нарезая овощи, чистя сваренные вкрутую яйца, моя посуду. Мать то и дело поглядывала на девочку. Как волк, как собака, собирающаяся вонзить зубы в чью-то ногу. Со временем к этому взгляду прибавилась гримаса: верхняя губа чуть приподнималась к носу, выражая то ли неприязнь, то ли отвращение – легкое, едва заметное.

Ента вспоминает, как, заплетая ей косы, мать обнаружила под волосами над ухом темную родинку и очень обрадовалась. «Смотри, – сказала она отцу, – у нее родинка в том же месте, где у тебя, только с другой стороны, словно отражение в зеркале». Отец отреагировал спокойно. Он ни о чем не догадывался. Мать умерла, зажав тайну в кулаке. Умерла в каких-то судорогах, в ярости. Наверное, вернется на землю диким животным.

Она была одиннадцатым ребенком. Майер назвал ее Ента, что означает: тот, кто распространяет новое, и тот, кто учит других. У матери уже не было сил ухаживать за ней – она была слишком слаба. О Енте заботились другие женщины, вечно суетившиеся в доме, – двоюродные сестры, тетка, какое-то время бабушка. Она вспомнила, как мать по вечерам снимала с головы чепец – тогда Ента видела вблизи ее некрасивые, коротко, неаккуратно подстриженные волосы на нездоровой, шелушащейся коже.

У Енты было шестеро старших братьев, которые учились в иешиве и дома заучивали Писание, а она, слишком маленькая, чтобы заниматься настоящими женскими делами, болталась рядом со столом, за которым они сидели. Еще у нее было четыре старшие сестры, одна из которых уже вышла замуж, а другую усиленно сватали.

Отец заметил интерес и любознательность дочери, поэтому показал ей буквы, думая, что она воспримет их как своего рода картинки, похожие на драгоценности и звездочки: красивый алеф, похожий на отражение кошачьей лапы, шин, как лодочка с мачтой, какую делают из коры и бросают в воду. Но Ента, неведомо как и когда, выучила буквы иначе, по-взрослому, так что вскоре смогла складывать их в слова. Мать с неожиданной яростью – как будто Ента тянулась слишком высоко – била ее за это по рукам. Сама она читать не умела. Зато охотно слушала, когда отец – редко, а чаще их пожилой родственник Хромой Абраша рассказывал женщинам и детям истории из книг на идише; Абраша всегда делал это жалобным голосом, будто написанные слова были сродни плачу. Он начинал, когда смеркалось, при тусклом свете свечей, поэтому вместе с чтением в дом по вечерам приходила стойкая печаль деревенских каббалистов, которых в ту пору было немало. Эту печаль удавалось распробовать так же, как некоторым случается распробовать водку. А потом на них на всех накатывала такая меланхолия, что кто-нибудь непременно начинал плакать и хныкать. Тогда хотелось коснуться всего, о чем говорил Абраша, протянуть руку за чем-то конкретным, но ничего не было. И это отсутствие наводило ужас. Оно рождало настоящее отчаяние. Кругом темень, холод и сырость. Летом – пыль, высохшая трава и камни. Где все это – этот мир, вся эта жизнь, этот рай? Как до них добраться?

Маленькой Енте казалось, что каждый следующий вечер, наполненный рассказами, – еще более плотный, темный, непроницаемый, особенно когда Хромой Абраша говорил низким, ласковым голосом:

– А известно, что просторы мира полны призраков и злых демонов, порожденных человеческим грехом. Они витают в пространстве, как ясно написано в Книге Зоар. Следует остерегаться, чтобы по дороге в синагогу они не пристали к человеку, поэтому тот должен знать, что написано в Зоаре, а именно что с левой стороны поджидает вредитель, поскольку мезуза прибита только справа, а в мезузе написано Имя Бога – Шаддай, который побеждает вредителя, и поэтому сказано: «Напиши эти слова на косяках дома твоего».

Они согласно кивали. Это мы знаем. Левая сторона.

Ента это помнила. «Воздух полон глаз, – шептала мать, тормоша ее, словно тряпичную куклу, каждый раз, когда одевала. – Они смотрят на тебя. Только задай вопрос, и духи тут же ответят. Нужно просто уметь спрашивать. И находить ответы: в молоке, разлитом в форме буквы самех, в отпечатке конского копыта в форме буквы шин. Собирай, собирай знаки и вскоре прочтешь всю фразу. Что за премудрость – читать книги, написанные людьми, если весь мир – книга, написанная Богом, включая глинистую тропу, ведущую к реке. Присмотрись к ней. А еще гусиные перышки, высохшие древесные волокна на досках в заборе, трещины в глине на стенах дома – вот эта совсем как одна из букв: шин. Ты это знаешь, прочти, Ента».

Она боялась матери – еще бы! Крошечная девочка стоит перед худосочной женщиной, вечно что-то бормочущей, с неизменной злобой. Мегера – так ее называла вся деревня. Настроение у матери менялось слишком часто, и когда она брала Енту на колени, та никогда не знала, последуют ли за этим поцелуй и объятия, или мать больно сожмет ей плечи и встряхнет, словно куклу. Поэтому предпочитала держаться подальше. Наблюдала, как мать своими худыми руками укладывает в сундук остатки бывшего приданого – она происходила из Силезии, из богатого еврейского рода, но осталось от этого богатства немного. Ента слышала, как родители постанывают в постели, и знала, что это отец тайком от остальных членов семьи изгоняет из матери диббука. Мать сначала слабо сопротивлялась, потом глубоко вздыхала, как человек, нырнувший в холодную воду, в ледяную воду миквы и укрывшийся там от зла.

Однажды в голодный год Ента подсмотрела, как мать поедает припасы, предназначенные для всей семьи: сторбленная спина, худое лицо, пустые глаза, такие черные, что не видно зрачков.

Когда Енте было семь лет, мать умерла в очередных родах – и она сама, и ребенок, которому не хватило сил выбраться на свет. Для Енты это был, конечно же, диббук, которого та съела, ворую еду, и которого отец не сумел изгнать во время ночных схваток. Он устроился в животе ее матери и отказался уходить. А смерть – наказание. За несколько дней до роковых родов, толстая и опухшая, с безумными глазами, мать разбудила Енту на рассвете, дернув за косички, и сказала:

– Вставай, Мессия пришел. Он уже в Самборе.

После смерти жены Майер, которого мучило смутное чувство вины, стал сам заботиться о дочери. Он не знал, чем ее занять, поэтому, пока отец изучал книги, Ента сидела рядом и глядела в страницы.

– А как будет выглядеть спасение? – спросила она однажды.

Майер, очнувшись, встал из-за стола и прислонился спиной к печи.

– Это просто, – ответил он. – Когда последняя искорка божественного света вернется к своему источнику, нам откроется Мессия. Все законы будут упразднены. Исчезнет разделение на кошерное и некошерное, святое и проклятое, ночь нельзя будет отличить от дня, и сотрутся различия между женщиной и мужчиной. Буквы в Торе будут переставлены таким образом, что возникнет новая Тора, и все в ней будет наоборот. Человеческие тела сделаются легкими, как духи, и новые души спустятся к ним с самого престола доброго Бога. Исчезнет и потребность в пище и питье, больше не надо будет спать, и все желания рассеются, как дым. Телесное воспроизведение уступит место слиянию святых имен. Талмуд покроется пылью, всеми забытый и ненужный. Всюду будет светло от сияния Шхины⁷³.

Однако позже Майер счел необходимым напомнить дочери о самом главном.

– Между сердцем и языком – пропасть, – сказал он. – Запомни это. Приходится скрывать свои мысли, особенно если ты, на свое несчастье, родилась женщиной. Думай так, чтобы остальные не догадались, что ты вообще думаешь. Веди себя так, чтобы сбить окружающих с толку. Мы все должны так поступать, но женщины – особенно. Талмудисты знают о силе

⁷³ В иудаизме и каббале – термин, обозначающий присутствие Бога, воспринимаемое и в физическом аспекте.

женщин, но боятся ее, поэтому прокалывают девочкам уши, чтобы ослабить их. Но мы – нет. Мы не делаем этого, потому что мы сами подобны женщинам. Мы скрываемся. Притворяемся глупцами, притворяемся не теми, кем являемся. Приходя домой, снимаем маски. На нас лежит бремя молчания.

И теперь, когда Ента лежит, прикрытая до подбородка, в дровяном сарае в Королёвке, она знает, что всех обманула.

Мед, не съесть его слишком много, или Учеба в школе Иссахара в Смирне, в турецких краях

Благодаря школе Иссахара Нахман отлично разбирается в гематрии, нотариконе⁷⁴ и темуре⁷⁵. Среди ночи его разбуди – начнет переставлять буквы и конструировать слова. Он уже взвесил и определил количество слов в молитвах и благословениях, чтобы понять, по какому принципу они построены. Сравнил их с другими, преобразовал, переставляя буквы. Много раз, лежа с закрытыми глазами и мучаясь бессонницей в жаркие смирненские ночи, когда реб Мордке молча удалялся, покуривая трубку, Нахман забавлялся до самого рассвета – играл словами и буквами, выстраивая абсолютно новые, невероятные значения и связи. Когда первые лучи рассвета освещали серую площадь с несколькими чахлыми оливами, под которыми среди куч мусора спали собаки, ему казалось, что мир слов гораздо более реален, нежели то, что видят его глаза.

Нахман счастлив. Он всегда садится позади Якова – любит смотреть на него со спины. В Книге Притчей Соломоновых 25:16 как будто о нем говорится: «Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, не то пресытишься им и изблужешь его».

Между тем, помимо хаккарат паним – умения читать выражения лиц – и сидрей шир-тутин – искусства хиромантии, избранные ученики, в том числе Нахман и Яков, под руководством Иссахара и реб Мордке постигают еще одно тайное знание. Вечером в маленькой комнате оставляют только две свечи и все садятся у стены на пол. Голову нужно опустить между колен, низко. Тогда человеческое тело возвращается в то положение, которое оно принимало в материнской утробе, то есть еще обретаясь вблизи Бога. Когда сидишь так несколько часов, когда легкие снова наполняются воздухом и слышится биение собственного сердца, человеческий разум начинает свой путь.

Якова, высокого и крепкого, всегда окружает стайка слушателей. Он рассказывает о приключениях своей юности в Бухаресте, Нахман слушает вполуха. Яков говорит, что однажды заступился за еврея – и на него напали двое всадников аги⁷⁶. Он дрался скалкой для теста и этой скалкой победил всех турецких стражников. А когда его обвинили в нанесении телесных повреждений и он предстал перед судом, аге настолько понравилась храбрость Якова, что он не только освободил юношу, но и щедро одарил. Конечно, Нахман ему не верит. Вчера Яков рассказывал о волшебном сверле, которое, если его натереть какими-то чудодейственными травами, указывало, где в земле спрятаны сокровища.

Вероятно, заметив пристальный взгляд Нахмана, всегда поспешно отворачивающегося, стоит на него посмотреть, Яков говорит по-турецки:

– А ты, фейгеле, чего так глядишь на меня?

Похоже, он хотел оскорбить Нахмана. Тот моргает, изумленный. Не в последнюю очередь тем, что Яков воспользовался еврейским словом «фейгеле», которое означает «птица», а также того, кто женщинам предпочитает мужчин.

Яков, довольный тем, что сбил Нахмана с толку, широко улыбается.

⁷⁴ Акроним, применяемый в иудейской традиции для сокращенной передачи имен и названий.

⁷⁵ В каббале правила замены одних букв еврейского алфавита другими с целью постижения скрытых смыслов Торы.

⁷⁶ В Османской империи титул военачальника.

Некоторое время они пытаются найти общий язык. Яков начинает с того, на котором здесь говорят евреи, – ладино⁷⁷, однако Нахман ничего не понимает и отвечает на древнееврейском, но обоим тяжело просто так болтать на священном языке, и они запинаются. Нахман переходит на идиш, Яков говорит на нем с диковинным акцентом, поэтому отвечает по-турецки – бегло, радостно, словно вдруг ощутил под ногами родную почву, но теперь уже Нахман чувствует себя не слишком уверенно. В конце концов они принимаются болтать на какой-то смеси языков, не заботясь о происхождении того или иного слова. Слова – не аристократы, чтобы вникать в их родословную. Слова – купцы, деловые и проворные: одна нога здесь, другая там.

Как называется место, где пьют каффу? Кахвехане, верно? А смуглый коренастый турок-жужанин, который разносит покупателям купленные на базаре товары, – хамаль. А рынок, где торгуют камнями, на котором Яков бывает каждый день, – безестан, так ведь? Яков смеется, у него красивые зубы.

ПОСКРЁБКИ. ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЛИСЬ В СМИРНЕ В ЕВРЕЙСКОМ ГОДУ 5511 И КАК ВСТРЕТИЛИ МОЛИВДУ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО ДУХ ПОДОБЕН ИГЛЕ, ПРОДЕЛЫВАЮЩЕЙ В МИРЕ ДЫРУ

Я принял близко к сердцу то, чему нас учил Иссахар. А говорил он, что есть четыре типа читателей. Есть читатели-губки, читатели-воронки, читатели-фильтры и читатели-ситы. Губка впитывает в себя все подряд; разумеется, такой читатель многое запоминает, однако не в состоянии извлечь суть. Воронка: одним концом в себя принимает, а через другой – все прочитанное выпускает. Фильтр пропускает вино и задерживает один лишь осадок – такому горе-читателю лучше бы заняться ремеслом. Сито отделяет плевелы – остается отборное зерно.

«Я хочу, чтобы вы уподобились ситу и не удерживали в себе ничего дурного и скучного», – говорил нам Иссахар.

Благодаря заведенным еще в Праге знакомствам и доброй репутации реб Мордке нас обоих, на наше счастье, за очень приличные деньги наняли помогать тринитариям⁷⁸, выкупавшим христианских пленников из турецкого рабства. Мы заняли место еврея, внезапно скончавшегося от какой-то лихорадки, – ему срочно искали замену. В наши обязанности входило обеспечивать верующих пищей во время их пребывания в Смирне; поскольку к тому времени я свободно говорил на турецком и, как уже было сказано, неплохо знал польский, меня также брали переводить, и вскоре я сделался, как это называют турки, драгоманом – переводчиком.

Все происходило в порту, тринитарии навещали пленников во временных камерах, где тех содержали, и расспрашивали: откуда они, имеют ли родственников, способных заплатить выкуп и вернуть братьям-тринитариям залог.

Иногда случались забавные истории, как, например, с одной соотечественницей из-под Львова. Ее звали Заборовская, а родившегося в неволе маленького сына – Исмаил. Эта женщина чуть было сама не сорвала сделку, потому что категорически отказывалась изменить магометанской вере и крестить ребенка, так что братья-тринитарии с ней намучились.

Еще одним переводчиком у тринитариев служил человек, который сразу привлек мое внимание, потому что я слышал, как он разговаривает с кем-то по-польски, хоть и одет в турецкое платье. У него были выцветшие на солнце волосы и коротко стриженная рыжеватая борода.

⁷⁷ Устаревшее название сефардского языка, являющегося продолжением раннееврейско-кастильского диалекта, включившего в себя черты остальных еврейских иберо-романских диалектов.

⁷⁸ Тринитарии, или орден Пресвятой Троицы (*лат.* Ordo Sanctissimae Trinitatis) – католический нищенствующий монашеский орден, основанный в 1198 г. французским богословом Жаном де Мата и пустынником Феликсом де Валуа для выкупа пленников христиан из мусульманского плена. Девизом ордена стала фраза «Слава Тебе, Троица, а пленным – свобода».

Коренастый и мускулистый, он казался сильным и выносливым. Я наблюдал за ним украдкой, но не хотел заговаривать, пока не представится возможность. Однажды, заметив, как я пытаюсь что-то объяснить на польском языке людям, приехавшим из Малой Польши⁷⁹, проделавшим такой путь, чтобы выкупить своего родственника, он подошел ко мне и, похлопав по плечу, обнял, как обнимают земляка. «Откуда ты?» – спросил он без церемоний, что очень тронуло меня, потому что никогда еще ни один человек благородного происхождения не относился ко мне так сердечно. Затем он заговорил со мной на древнееврейском, довольно бегло и по-нашему, с идишским акцентом. Голос у него был звучным, он мог бы стать оратором. Вид у меня, должно быть, сделался глупый, потому что незнакомец громко рассмеялся, сильно запрокидывая при этом голову – так, что можно было едва ли не в глотку ему заглянуть.

В Смирну его привели какие-то загадочные дела, говорить о которых он не пожелал, но утверждал, что является принцем острова, находящегося в греческом море и названного в его честь – Моливда. Однако говорил об этом так, будто закидывал удочку: поверим ли, поймем ли на крючок? Говорил так, словно и сам себе не вполне верил, словно в запасе у него имелось еще несколько версий, столь же правдоподобных. Тем не менее мы как-то сблизились. Ко мне он относился по-отцовски, хотя был лишь немногим старше. Расспрашивал нас о Польше – мне приходилось рассказывать ему самые обычные вещи, и это, похоже, доставляло ему удовольствие: каковы нравы шляхты и мещан во Львове, какие там магазины, есть ли где выпить хорошей каффы, чем торгуют евреи и чем – армяне, что едят и какой алкоголь пьют. По правде говоря, я плохо ориентировался в польских делах. Я рассказал ему о Кракове и Львове, подробно описал Рогатин, Каменец и Буск – мой родной городок. Должен признаться, мне тоже не удавалось избежать внезапных приступов тоски, каким подвержены путешественники, оказавшиеся вдали от дома. Но этот человек – такое ощущение, что он давно не бывал в родных краях, поскольку интересовался мелочами и задавал странные вопросы. Моливда, в свою очередь, поведал о своих приключениях на море и встречах с пиратами и так живописал морские сражения, что послушать о них присаживались даже тринитории в своих белых плащах с крестами. В беседах с монахами Моливда переходил на польский, и по интонациям (понимал я тогда еще не все) было ясно, с каким почтением они к нему относятся – не как к простому смертному. Именовали его тринитории «граф Коссаковский», отчего у меня странным образом перехватывало дыхание, поскольку я никогда близко не имел дела с аристократами, пускай даже столь чужаковатыми.

Чем ближе мы сходились с Моливдой, тем больше он нас удивлял. Мало того что бегло читал и говорил на древнееврейском, но разбирался также в основах гематрии! Очень скоро стало очевидно, что его ученость значительно превосходит осведомленность обыкновенного голя. Еще Моливда говорил по-гречески и даже турецким овладел в достаточной мере, чтобы выдавать расписки.

Однажды к Иссахару приехал Това из Никополя, которого мы еще не знали, но о котором слышали только хорошее, а кроме того, изучали его книгу и его стихи. Он был человеком скромным и замкнутым. Тову повсюду сопровождал тринадцатилетний сын, красивый мальчик, и вместе они выглядели так, будто ангел присматривает за мудрецом.

Споры, начавшиеся после его приезда, направили наши дискуссии в совершенно новое русло.

Иссахар сказал:

«И ждать больших событий, солнечных затмений или наводнений уже не приходится. Удивительный процесс спасения совершается вот здесь. – Он звонко похлопал себя по груди. – Мы поднимаемся с глубочайшего дна, подобно тому как он поднимался и падал, неустанно сражаясь с силами зла, с демонами тьмы. Мы освободимся, даже если здесь, в миру, нам суж-

⁷⁹ Историческая область на юго-востоке и юге современной Польши, с центром в Кракове.

тана тысячное войско с золотыми щитами. Мы были как дети, возжелавшие чудесных игрушек, ахайя эйнаим, иллюзии, фокуса для малышей.

Тот, кто полагает, будто Бог обращается к нам через внешние события, ошибается, уподобляется ребенку. Бог шепчет в самую глубину нашей души.

«Это великая загадка и непостижимая тайна, что искупителем становится тот, кто более всех поруган, кто достиг дна страшнейшего мрака. Теперь мы ждем его возвращения; он станет возвращаться в разных обличьях, пока наконец тайна не претворится в одном: Бог воплотится в человеке, наступит Двекут⁸⁰ и воцарится Троица». Слово «Троица» Иссахар произнес тише, чтобы не раздражать тех, кто полагал столь слабого Мессию чересчур христианским. Но разве во всякой религии не содержится доля истины? Каждая из них, даже самая варварская, осенена искрой божественности.

Тогда из облака дыма прозвучал голос реб Мордке:

«А может, Мессия показал нам пример и мы должны последовать за ним в эту тьму? Многие в Испании приняли религию Эдома»⁸¹.

«Не дай Бог, – возразил Това. – Не нам, малым мира сего, подражать Мессии. Лишь ему под силу погрузиться в грязь и мерзость, полностью окунуться в них и выйти незапятнанным, кристально чистым и безупречным».

Това считал, что не следует слишком сближаться с христианством. Позже, когда мы возбужденно спорили с другими по поводу Троицы, он утверждал, что христианское учение о Троице – искаженная версия древнего учения о божественной тайне, сегодня полностью забытого. Тень его и ложная версия.

«Держитесь подальше от Троицы», – предостерегал он.

Эта картина глубоко врезалась мне в память: при мерцающем свете масляной лампы все вечера напролет трое зрелых бородатых мужчин ведут споры о Мессии. За каждым письмом от братьев из Альтоны или Салоников, из Моравии, Львова или Кракова, из Стамбула или Софии следовала череда бессонных ночей, и в этот смирненский период наши мысли были весьма созвучны. Иссахар казался наиболее сдержанным, Това же бывал саркастичен, и должен признать, я старался избегать его гневного взгляда.

Да, мы знали, что с появлением Шабтая Цви мир приобрел иное обличье – застывшее; он лишь кажется прежним, а на самом деле – совершенно иной, чем раньше. Старые законы больше не действуют, заповеди, которым мы доверчиво следовали в детстве, утратили смысл. Тора на вид та же самая, буквы в ней не изменились, никто их не переставлял, но читать по-прежнему уже невозможно. Привычные слова открывают совершенно новый смысл, и мы его видим и понимаем.

Всякий, кто в этом искупленном мире придерживается старой Торы, чтит мертвый мир и мертвый закон. Совершает грех.

Мессия завершит свое мучительное путешествие, разрушив изнутри пустые миры, обратив в прах мертвые законы. Следовательно, старый порядок необходимо уничтожить, чтобы возобладали новые.

Разве учения и писания не показывают нам со всей очевидностью, что Израиль именно для того был рассеян по свету, чтобы собрать все искры святости, даже в самых отдаленных уголках мира, вознести их из темниц? Не учил ли нас Натан из Газы еще одной вещи? Что

⁸⁰ В иудаизме и каббале состояние слияния с Творцом.

⁸¹ «Как в еврейской, так и в христианской традиции Исава является прообразом брата-врага. В еврейской литературе Исава, или Эдом, – это христиане. А в христианской литературе Исава, или Эдом, – это евреи. В обеих религиях „мы” – это Иаков, „они” – Исава. Отношение одних к другим – это отношение к брату, и даже брату-близнецу, сыну той же матери и того же отца, но в то же время являющемуся врагом и даже злейшим из врагов» (Й. Каплан, О. Лимор, А. Хофман. *Евреи и христиане. Poleмика и взаимовлияние культур. Евреи и христиане в Западной Европе до начала Нового времени. Открытый университет, Израиль, 2000*).

порой эти искры так глубоко и постыдно вязнут в плоти материи, что подобны драгоценным камням, упавшим в навоз? В самые тяжкие мгновения тиккун не было никого, кто сумел бы их извлечь, только он один: ему самому пришлось испытать грех и зло – и вынести оттуда священные искры. Должен был появиться такой человек, как Шабтай Цви, и принять ислам, совершить отступничество за всех за нас, чтобы нам больше не пришлось это делать. Мало кто в состоянии уразуметь подобное. Но Исаия учит нас: Мессия будет отвергнут своими и чужими, так гласит пророчество.

Това уже собирался уезжать. Он накупил шелка, который возили сюда на кораблях из Китая, и китайского фарфора, тщательно упакованного в бумагу и опилки. Накупил индийских благовоний. Сам отправился на базар за подарками для жены и любимой дочери Ханы, о которых я тогда впервые услышал, еще не зная, как будут разворачиваться дальнейшие события. Иссахар рассматривал шали, расшитые золотом, и туфли с вышивкой. Мы с реб Мордке зашли к нему, когда Това отдыхал, отправив помощников на таможенную за ферманами – через несколько дней он собирался двинуться в обратный путь. Поэтому все, у кого были родственники в северных краях, теперь писали письма и собирали небольшие посылки, чтобы отправить вместе с караваном Товы на берега Дуная – в Никополь и Джурджу, а оттуда – дальше, в Польшу.

Мы сели рядом с ним, и Мордехай достал откуда-то бутылку превосходного вина. После двух стаканов лицо Товы оттаяло, на нем появилось выражение детского удивления, брови приподнялись, лоб нахмурился, и я подумал, что Това все время себя контролирует, а сейчас мне довелось увидеть настоящее обличье этого мудрого человека. Как бывает с людьми, не привыкшими пить, вино быстро ударило ему в голову. Реб Мордке принялся подшучивать: «Как не пить, когда у тебя свой виноградник?» Но причина нашего визита была иной. Я снова почувствовал себя сватом – как прежде. Речь шла о Якове. Во-первых, он сблизился с евреями из Салоников, которые поддерживали Кунио, сына Барухии⁸², что очень нравилось Тове, поскольку он тоже тяготел к ним. Но мы с реб Мордке упорно возвращались еще к одному вопросу – наш напор, напор «этой парочки из Польши», как величал нас Това, был подобен спирали: кажется, будто он ослабевает, но потом вновь набирает силу, только в новой форме. А той точкой, к которой всякий раз, после весьма далеких отступлений и очень свободных ассоциаций, возвращался каждый разговор, был Яков. Чего мы добивались? Мы хотели женить Якова на дочери Товы, чтобы Яков стал уважаемым человеком. Не состоящий в браке еврей – никто, и никто не станет воспринимать его всерьез. Что еще? Что, словно бы чудом, родилось в наших головах? Это была смелая мысль, может и опасная, но я вдруг увидел ее целиком, и она показалась мне совершенной. Я словно бы понял, ради чего все это – наши странствия с реб Мордке, учение. Возможно, вино расслабило мой разум, потому что все внезапно прояснилось. И тогда реб Мордке произнес вместо меня:

«Мы сосватаем твою дочь и отправим Якова в Польшу с миссией».

Именно этого мы и добивались. И, что удивительно, Това ни единым словом не возразил, поскольку, как и все прочие, уже слыхал о Якове.

Итак, мы послали за Яковым, и он прибыл – не очень скоро, а вместе с ним целая ватага мальчишек-сверстников и какие-то турки. Они остались на другой стороне площади, а Яков, слегка робея, подошел к нам. Помню, как при виде его я вздрогнул, ощутил во всем своем теле трепет и любовь, большую, чем к кому-либо другому на свете. Глаза Якова сияли, он был словно бы взволнован и изо всех сил пытался сдержать ироническую усмешку.

⁸² Барухия Руссо, после принятия ислама – Осман-баба (1676–1719/21) – еврейский каббалист, саббатянец, живший в Салониках, считавший себя воплощением Шабтая Цви и Мессией.

«Если ты, Мордехай, ты, Това, и ты, Нахман, – мудрецы сего столетия, – произнес он с преувеличенной почтительностью, – обратите металл в золото, тогда я буду знать, что вы являетесь святыми посланниками».

Я не понимал, шутит он или говорит серьезно.

«Сядь, – осадил его реб Мордке. – Это чудо может совершить лишь сам Мессия. И ты это отлично знаешь. Мы уже говорили об этом».

«И где же он, ваш Мессия?»

«Как, разве ты не знаешь? – реб Мордке взглянул на него исподлобья, иронически. – Ведь ты постоянно общаешься с его последователями».

«Мессия находится в Салониках, – спокойно ответил Това. Он был чуть навеселе и растягивал слова. – После смерти Шабтая Цви дух перешел от него к Барухии, да будет благословенно его имя!»

Това мгновение помолчал и добавил, будто подзадоривая:

«А теперь говорят, что дух вселился в сына Барухии, Кунио. Якобы Мессия – он».

Якову не удалось сохранить серьезность. Он широко улыбнулся, и мы облегченно вздохнули, поскольку не понимали, куда выведет этот разговор.

«Если все так, как вы говорите, я немедленно отправлюсь туда, – сказал Яков спустя мгновение. – Ибо всем сердцем жажду ему служить. Если он захочет, чтобы я рубил ему дрова, – стану рубить дрова. Если велит мне носить воду – стану носить воду. Если он захочет вести войну – стану командовать войсками. Только скажите, что мне делать».

В трактате Хагига⁸³ 12 говорится: «Горе людям, которые видят, но не знают, что они видят». Но мы видели и понимали то, что видели. Это случилось той же ночью. Сначала Яков остановился перед реб Мордке, а тот, произнося молитву и твердя самые действенные слова, вновь и вновь касался его губ, глаз и бровей, затем натирал лоб травами, пока глаза юноши не остекленели, а сам он не сделался кроток и смирен. Мы раздели Якова и оставили гореть только одну лампу. Затем дрожащим голосом я запел ту песню, которую мы все знали, но которая теперь приобрела совершенно иное значение, ибо мы молили уже не о нисхождении духа, как молятся каждый день, просто так, ради совершенствования мира, ради собственного спасения. Теперь мы молили о буквальном, осязаемом сошествии духа в это обнаженное тело, что находилось перед нами, тело мужчины, брата, одновременно знакомого и незнакомого. Мы предложили духу испробовать его, проверяли, подходит ли он, выдержит ли такой удар. И уже не просили дать обычный знак, чтобы утешить наши сердца, мы просили действовать, прийти в наш мир, темный, грязный и мрачный. Мы выставили Якова словно приманку, как предлагают волку ошеломленного ягненка. Голоса наши становились все тоныше, наконец сделались совсем писклявыми, будто мы превратились в женщин. Това раскачивался взад и вперед, меня мучило, словно я съел что-то несвежее, казалось, я вот-вот потеряю сознание. Только реб Мордке стоял спокойно, возведя глаза к потолку, где было маленькое оконце. Возможно, ожидал, что дух им воспользуется.

«Дух кружит вокруг нас, словно волк вокруг людей, запертых в пещере, – говорил я. – Он ищет самое крошечное отверстие, чтобы проникнуть внутрь, в мир теней, к этим формам, в которых свет едва брезжит. Принюхивается, проверяет каждую щель, каждую дырку, чует нас внутри. Он кружит, точно любовник, охваченный желанием наполнить светом эти нежные создания, подобные подземным грибам. А люди, маленькие, хрупкие и заблудшие существа, оставляют ему знаки – помечают оливковым маслом камни, кору деревьев, дверные косяки, делают отметку на лбу, чтобы духу было легче туда проникнуть».

⁸³ Талмудический трактат (II–III вв. н. э.).

«Почему дух так любит масло? Откуда пришло это помазание? Не потому ли, что так легче проскользнуть внутрь материи?» – спросил однажды Яков, и все ученики расхохотались. И я тоже, потому что это было так смело, что не могло быть глупо.

Все произошло внезапно. У Якова вдруг возникла эрекция, а его кожа покрылась потом. Глаза его сделались странно выпученными и незрячими, и весь он словно бы звенел. Затем он рухнул на землю и лежал там в странной позе, выгнувшись и дрожа всем телом. Первым естественным побуждением было подойти к нему, чтобы помочь, но меня удержала рука реб Мордке, вдруг обретшая огромную силу. Продолжалось это недолго. Потом из-под Якова медленно потекла струя мочи. Мне трудно писать об этом.

Я никогда не забуду того, что увидел там, и я никогда больше не видел ничего более подлинного, что свидетельствовало бы о том, насколько мы в нашей земной, телесной, материальной форме чужды духу.



Ris 155. Europa Turchesa

О свадьбе в Никополе, тайне под балдахином и преимуществах, какими обладает чужак

Карта турецкого влияния середины XVIII века – это территория с редкими вкраплениями городов. Большинство поселений расположено вдоль рек, особенно Дуная; на карте они напоминают клещей, присосавшихся к жилам. Здесь царит стихия воды: такое ощущение, что она повсюду. Империя начинается от Днестра на севере, на востоке касается берегов Черного моря, на юге простирается до Турции и Земли Израиля, а дальше тянется вокруг Средиземного моря. Того и гляди – круг замкнется.

И если бы на такой карте было возможно отмечать перемещения людей, оказалось бы, что странники оставляют после себя хаотичные, а следовательно, не радующие глаз следы. Зигзаги, хитроумные спирали, кривые эллипсы – свидетельства совершения деловых поездок, паломничеств, торговых экспедиций, визитов к родственникам, побегов и тревог.

Здесь бродит много дурных людей, иные весьма жестоки. Расстилают на тракте ковер, рядом втыкают в землю копыя – знак, что здесь следует заплатить выкуп, даже не видя лиц злодеев. Если этого не сделать, из кустов вылетят другие копыя, а вслед за ними выскочат разбойники, которые своими мечами изрубят путника на куски.

Однако опасности путешественников не останавливают. Поэтому – караваны с тюками хлопка. И повозки с целыми семьями – в гости к родственникам. Бредут божьи люди, изгнанники, безумцы, которые уже столько пережили, что им все равно и плевать они хотели на взимаемую грабителями дань. Кроме того, движутся отряды наместников султана, медленно и лениво, собирая налоги, которыми щедро одевают себя и своих приспешников. Тянутся гаремы пашей, оставляя после себя аромат масел и благовоний. Идут пастухи, перегоняя стада на юг.

Никополь – небольшой городок на южном берегу Дуная, отсюда отправляются паромы в Турну, валашский город, называемый также Большим Никоподем, на другой стороне широко разлившейся реки. Всем, кто следует с юга на север, приходится здесь остановиться, продать часть товаров или обменять на другие. Поэтому город процветает, торговля бойкая. Тут, в Никополе, евреи говорят на ладино, языке, который следовал за ними, изгнанниками, из Испании, по пути подхватывая новые слова, меняя звучание и, наконец, став тем, чем является теперь, – языком сефардских евреев на Балканах. Кое-кто язвительно именуется его ломаным испанским. Но почему ломаным? В конце концов, это красивый язык. Здесь все так говорят, хотя иногда переходят на турецкий. Яков вырос в Валахии, поэтому хорошо знает ладино, но свидетели на свадьбе – реб Мордке из Праги и Нахман из Буска – даже не пытаются воспользоваться несколькими известными им словами, предпочитают древнееврейский и турецкий.

Свадьбу играли семь дней, начиная с 24-го дня месяца сивана 5512 года, то есть 6 июня 1752 года. Отец невесты, Това, взял ссуду и уже тревожится: вероятно, его ожидают финансовые затруднения, а в последнее время дела и так шли неважно. Приданое скудное, но девушка красивая и обожает мужа. Неудивительно – Яков весел и остроумен, к тому же строен, как олень. В брачные отношения они вступили в первую же ночь, по крайней мере так хвастает жених, причем несколько раз; а невесту никто и не спрашивает. Удивленная этим вторжением мужа, старше ее на двенадцать лет, в сонную клумбу своего тела, та вопросительно заглядывает в глаза матери и сестрам. Вот это оно и было?

После замужества Хана меняет наряд; теперь она одевается по-турецки – мягкие шаровары, сверху турецкая туника, расшитая розами и украшенная драгоценными камнями, и еще

красивая шаль из кашемировой шерсти, которая в данный момент брошена на перила – очень жарко.

Подаренное мужем ожерелье настолько дорогое, что его тут же забрали и упрятали в сундук. Но за Ханой дают приданое особого рода: репутацию семьи, предприимчивость братьев, написанные отцом книги, происхождение матери – из рода португальских евреев, ее собственную сонную красоту и прелесть, очаровавшие Якова, который привык к женщинам худым, гордым и дерзким, волевым, как бабушка, как родные и двоюродные сестры, подольские еврейки, или к зрелым вдовам, которым он позволял тешить себя в Смирне. А Хана нежна, как лань. Она отдается ему из любви, ничего не требуя для себя – этому ему только предстоит научить молодую жену. Отдается удивленно, и этот ее взгляд возбуждает Якова. Хана внимательно осматривает мужа, словно коня, которого посулили ей в подарок. Яков дремлет, а она внимательно разглядывает его пальцы, кожу на спине, изучает оспины на лице, накручивает на палец бороду и, наконец, набравшись смелости, изумленно взирает на гениталии.

Затоптаный огород, опрокинутый забор, песок, что натащали в дом гости, выходившие на улицу охладиться между танцами, а затем принесшие это предвестие пустыни на устланный коврами и подушками пол. Грязная посуда еще не вымыта, хотя женщины суетятся с самого утра, в саду – запах мочи, остатки еды, брошенные кошкам и птицам, тщательно обглоданные кости: вот и все, что осталось от пира, продолжавшегося несколько дней. У Нахмана болит голова – похоже, перебрал никопольского вина. Он лежит в тени фигового дерева и рассматривает Хану, которая – занятие, не слишком подходящее для молодой замужней женщины, – ковыряет палочкой стену дома, то место, где гнездятся осы. Того и гляди – достанется и ей самой, и всем вокруг, придется бежать. Хана дуется: свадьба только закончилась, а они уже собираются в путь. Молодая жена едва успела рассмотреть супруга, а тот уже устремился дальше.

Нахман делает вид, что дремлет, но искоса поглядывает на Хану. Пожалуй, она ему не нравится. Какая-то слишком обыкновенная. Кто она – та, что досталась Якову? Возьмись Нахман сейчас за свои «Поскрёбки» – не сумел бы описать. Не знает, умна она или глупа, весела или меланхолична, легко впадает в ярость или, наоборот, мягкосердечна. Не знает, как может быть женой эта девушка с круглым лицом и зеленоватыми глазами. Здесь замужним женщинам не стригут волосы, так что видно, какие они роскошные, темно-коричневые, цвета каффы. У нее красивые руки с длинными узкими пальцами и пышные бедра. Выглядит Хана значительно старше своих четырнадцати лет. Лет на двадцать – настоящая женщина. Вот так и следует ее описать: красивая и округлая. И хватит. А ведь еще несколько дней назад Хана казалась ему ребенком.

Еще Нахман рассматривает брата-близнеца Ханы, Хаима, – между ними есть сходство, которое заставляет его вздрогнуть. Хаим мельче, миниатюрнее, живее, с более узким лицом и по-мальчишески растрепанными волосами до плеч. Тело более шуплое, поэтому Хаим кажется моложе. Он смышлен и всегда дерзко смеется. Отец назначил его своим преемником. Брату и сестре предстоит расстаться – это непростой момент. Хаим хочет поехать вместе с ними в Крайову, но он нужен отцу здесь, а может, тот просто опасается за сына. Дочерям суждено быть выданными замуж, с самого начала известно, что они уйдут из дома, словно тщательно скопленные деньги, которыми в нужный момент придется уплатить миру дань. Перестав дуться и почти забыв, что она теперь замужем, Хана подходит к брату, и, склонив друг к другу темноволосые головы, они принимаются шептаться. Этой картиной любителю не только Нахман, который замечает, что всем по душе двойной образ – только вместе юноша и девушка идеальны. Разве мужчина не должен быть именно таким – двойным? Что было бы, имей каждый близнеца противоположного пола? Все понимали бы друг друга без слов.

Еще Нахман смотрит на Якова, и ему кажется, что глаза у того после свадьбы подернуты какой-то пленкой; может, это усталость, последствие поднятых тостов. Где его птичий взор,

ироничный взгляд, заставляющий окружающих отводить глаза? Сейчас он заложил руки за голову – все здесь свои, можно расслабиться; широкий рукав сползает к плечу, обнажая впадину подмышки, заросшую темными волосами.

Това журчит о чем-то зятю на ухо, почти приобнимая его: можно подумать – мелькает у Нахмана язвительная мысль, – что это тесть женился на Якове, а не Хана вышла за него замуж. Брат Ханы Хаим, хотя и тянется ко всем, Якова избегает. Когда тот заговаривает с ним, умолкает и убегает. Неизвестно почему, взрослых это забавляет.

Реб Мордке не выходит из дома, он не любит солнца. Сидит в комнате, один, подложив под спину подушки, и курит свою трубку – лениво и неторопливо, смакуя каждый клуб дыма, созерцая, исследуя под лупой отдельные мгновения мира под бдительным оком букв алфавита. Нахман знает, что реб Мордке ждет, следит, чтобы воплотилось всё, что видят его глаза, даже если он ни на что не смотрит.

Под балдахином Това что-то сказал Якову, несколько слов, одну короткую фразу – ее начало и конец запутались в пышной бороде мудреца. Якову пришлось наклониться к тестю, и на мгновение на его лице появилось выражение ошеломления, изумления. Затем оно напряглось, будто Яков пытался сдержаться и не гримасничать.

Гости расспрашивают о женихе, хотят еще раз услышать те истории, которыми охотно делится сидящий за столом Мордехай, реб Мордке, – окутанный клубами дыма, он рассказывает, как они с Нахманом бен-Леви привели Якова к Тове.

– Вот муж для вашей дочери, – сказали мы. – Только он и никто другой.

– А почему именно он? – спросил Това.

– Он особенный, – сказал я, – с ним ее ждут большие почести. Посмотри на него, разве ты не видишь? Он великий человек. – Реб Мордке затягивается, дым пахнет Смирной, Стамбулом. Но Това колебался.

– Кто он такой, этот мальчик с рябым лицом, и откуда его родители? – поинтересовался он.

Тогда я, реб Мордке, и вот он – Нахман из Буска – принялись терпеливо объяснять, что его отец – известный раввин, Иегуда Лейб Бухбиндер, а мать, Рахель из Жешова, происходит из прекрасного рода, это родственница Хаима Малаха, а его двоюродную сестру выдали за Добрушку из Моравии, правнука Лейбеле Просница. В роду нет безумцев и больных, никаких убогих. Дух нисходит лишь на избранных. О, будь у Тovy жена, он мог бы обратиться к ней за советом, но, увы, жена умерла.

Реб Мордке умолкает и вспоминает, что эти сомнения Тovy их раздражали, напоминая колебания купца, трясущегося над своим товаром. А ведь речь шла о Якове!

Нахман слушает реб Мордке одним ухом, поскольку издали наблюдает за Яковым, который вместе с тестем пьет каффу. Яков опустил голову и устался на свои туфли. Жара не позволяет словам созреть и прозвучать, они тяжелы и неповоротливы. Яков теперь постоянно в турецком платье, на голове у него новый яркий тюрбан, тот же, что был на свадьбе, цвета фиговых листьев. Ему идет. Нахман видит его сафьяновые туфли с загнутыми носами. Затем руки Якова и Тovy одновременно поднимаются, и мужчины отпивают из маленьких чашечек.

Нахман знает, что Яков и есть этот Яков, поскольку, когда смотрит на него вот так, как сейчас, издали и украдкой, чувствует, что сердце у него сжимается, словно в чьей-то незримой ладони, горячей и влажной. От этого давления ему делается хорошо и спокойно. Но и печально. Слезы наворачиваются на глаза. Он мог бы так смотреть без конца. Какие еще требуются доказательства? Ведь это голос сердца.

Яков вдруг начал представляться не как раньше – Янкеле Лейбович, а Яков Франк: так здесь называют евреев с запада, так говорят о его тесте и жене. Франк, френк – то есть чужак. Нахман знает, что Якову это нравится: быть чужаком – отличительная черта тех, кто часто меняет место жительства. Он говорил Нахману, что лучше всего чувствует себя на новом месте,

потому что мир тогда словно бы начинается сызнова. Быть чужим – значит быть свободным. Ощущать за спиной огромное пространство – степь, пустыню. Ощущать форму месяца, напоминающего колыбель, оглушительную музыку цикад, запах дынной корки, шелест скарабея, который по вечерам, когда небо становится багровым, отправляется на свою песчаную охоту. Иметь собственную историю, не всем известную, собственный рассказ, что написан оставленными тобой следами.

Повсюду чувствовать себя гостем, в домах обживаться лишь временно, не тревожиться из-за сада и больше наслаждаться вином, чем привязываться к винограднику. Не понимать язык и от этого вернее прочитывать жесты и гримасы, выражение человеческих глаз, эмоции, пронсящиеся по лицам, словно тени облаков. Учиться основам чужой речи, понемножку тут и там, сравнивать слова и открывать механизмы сходства.

Этим состоянием следует дорожить, потому что оно наполняет огромной силой.

Яков сказал ему одну вещь, по своему обыкновению вроде бы в шутку, валяя дурака, – вещь непонятную, моментально врезающуюся в память Нахмана, поскольку это был первый урок Якова, который, вероятно, и сам о том не ведал: нужно ежедневно тренироваться говорить «нет». Что это означает? Нахман обещает себе спросить, но когда? Времени уже не остается. Сейчас он грустен и раздражителен, может, вино оказалось кислым? Нахман сам не понимает, когда начал превращаться из наставника в товарища, а потом, незаметно, в ученика. Как позволил этому случиться.

Яков никогда не говорит подобно мудрецам – длинными, сложными фразами, усеянными редкими, драгоценными словами, и постоянно ссылаясь на цитаты из священных книг. Он выражается коротко и ясно, как человек, который торгует на базаре или правит лошадь. Постоянно шутит, но, в сущности, неизвестно, шутка это или серьезное суждение. Смотрит прямо в глаза, произносит фразу так, будто стреляет, и ждет реакции собеседника. Обычно его настойчивый, несколько птичий взгляд – орла, сокола, стервятника – сбивает собеседника с толку. Тот отводит глаза, начинает путаться. Иногда Яков раздражается смехом – ни с того ни с сего, и тогда всем вокруг становится легче. Бывает грубым, резким. Передразнивает. Если ему что-то не по душе, сводит брови, а взгляд становится похож на лезвие ножа. Говорит вещи мудрые и глупые. Не доверяй ему слишком сильно, иначе он над тобой посмеется, – таким его Нахман тоже видел, хотя на Нахмана он пока еще свой взгляд стервятника не поднял. В результате Яков кажется вроде бы своим и равным, но поговорив с ним минуту, понимаешь, что он не свой и никому не равен.

Жених собирается уезжать. Иегуда Леви бен-Това, тесть Якова, нашел для него хорошую работу в Крайове. Это большой город, расположенный на берегу Дуная, ворота между севером и югом. У Товы там шурин, успешный торговец, они с Яковым будут заниматься его складом – получать и рассылать товары, выставлать счета. Всей этой сложной торговой сетью управляет Осман из Черновцов, человек чрезвычайно предприимчивый; про него говорят: к чему ни прикоснется, все обращает в золото. Золото течет из Польши, из Моравии, им расплачиваются за товары – турецкие и другие, которых не достать на севере. Почему в Польше не делают шапки из шерстяного фетра? Почему не ткют ковры? А фарфор, стекло? Там мало что делают, все привозное, поэтому на границе нужен такой человек, как Осман, соль земли, которая помогает проводимости импульсов мира. Он пузат, одевается в турецкое платье. В тюрбане, венчающем загорелое лицо, – совершенный турок.

Реб Мордке остается в Никополе; он стар, он устал. Ему нужны мягкие подушки, чистое постельное белье, его миссия окончена, тайна открыта, Яков сосватан и женат, стал взрослым мужчиной. В механизме мира исправлена одна сломанная шестеренка. Теперь реб Мордке может отступить в тень, в клубы табачного дыма.

Завтра все расстанутся. Яков с юным Гершеле бен-Зебу, двоюродным братом Ханы, отправятся в Крайову, а Нахман вернется в Польшу. Привезет добрые вести братьям на Подо-

лье, в Рогатин, Глинно и Буск, а потом наконец окажется дома. Он думает об этом со смесью радости и недовольства. Домой возвращаться непросто – это всем известно.

Прощаются еще до наступления полуночи. Женщин отправили спать, закрыли двери. Теперь мужчины пьют никопольское вино и, забавляясь крошками хлеба на столе, собирая их в кучки, скатывая в шарики, строят планы на будущее. Нуссен уже уснул на тюке хлопка, закрыл свой единственный глаз и не видит, как Яков с мутным взглядом гладит Нахмана по лицу, а тот, совсем пьяный, кладет голову ему на грудь.

На рассвете, еще не совсем проснувшись, Нахман садится в повозку, которая доставит путешественников в Бухарест; золото – все, что он заработал за поездку, – зашито в светлый лапсердак. Еще Нахман везет десяток с лишним бутылок с маслом алоэ, которое в Польше можно продать в несколько раз дороже. Прячет поглубже в карман белого шерстяного пальто, купленного на никопольском рынке, комок ароматного опиума. Еще в повозке – сумка с письмами и целый ящик подарков для женщин. По веснушчатому, обветренному лицу текут слезы, но сразу за городской заставой Нахмана охватывает такая радость, что кажется, будто по каменистой дороге он мчится навстречу восходящему, слепящему глаза солнцу.

Нахману повезло: в Бухаресте он присоединяется к каравану каменецкой компании Верещинского, Давида и Мурадовича – так написано на тюках, которые лежат в повозках. От них пахнет каффой и табаком. Караван движется на север.

Спустя почти три недели Нахман благополучно добирается до Рогатина и в сумерках – в грязных чулках и запыленном пальто – останавливается перед домом Шоров, где идут приготовления к свадьбе.

В Крайове. О торговле по праздникам и о Гершеле, столкнувшемся с дилеммой вишни

Склад Авраама, зятя Товы, – настоящий сезам; он торгует со всей Европой лучшим, что может предложить Восток, и через Стамбул все это течет на север – пестрая река всевозможных товаров, ярких, блестящих, которых ждут во дворцах и поместьях Буды, Вены, Кракова и Львова. Стамбульские ткани, так называемые стамбулакижари, разных цветов, расшитые золотом, в амарантовую, красную, зеленую и синюю полоску или с тисненными цветочными узорами, лежат, свернутые в рулоны, прикрытые от пыли и солнца холстиной. Рядом мягкие алжирские ковры из тонкой шерсти, напоминающей дамаст, с бахромой или обшитые тесьмой. Камлот, тоже в рулонах, разных цветов; это ткань, из которой в Европе шьют нарядные мужские сюртуки на шелковой подкладке.

А еще коврики, плюмажики, кисти, перламутровые и лаковые пуговицы, мелкое декоративное оружие, лаковые табакерки – в подарок изысканному человеку, веера с картинками – для европейских дам, трубки, драгоценные камни. Даже сладости: халва и рахат-лукум. На склад приезжают боснийцы, которых здесь называют греками, и привозят изделия из кожи, губки, пушистые полотенца, парчу, шали хорасанские и шали керманские, с восхитительными львами или павлинами. А от груд килимов исходит какой-то экзотический, незнакомый аромат, запах немыслимых садов, цветущих деревьев, фруктов.

– Субханаллах, слава Аллаху, – говорят покупатели, входя в этот храм. – Салям алейкум, шалом алейхем.

Им приходится наклонить голову, потому что притолока низкая. Яков никогда не сидит за конторкой, непременно за чайным столиком, одетый богато, по-турецки – он с удовольствием носит сине-зеленый кафтан и темно-красную турецкую шапку. Прежде чем приступить к делу, следует выпить два-три стаканчика чая. Все местные торговцы жаждут встретиться с зятем Товы, поэтому Яков устраивает что-то вроде аудиенции, и это раздражает Авраама. Но благодаря этому на небольшом складе всегда полно народу. Здесь торгуют в том числе драго-

ценными камнями и готовыми украшениями, полуоптом. Нити кораллов, малахита и бирюзы всевозможных размеров висят на крючках и покрывают каменную стену красочным замысловатым узором из волнистых линий. Особо ценные изделия находятся в застекленной металлической витрине. Там, например, можно увидеть невероятно дорогой жемчуг.

Яков поклоном встречает каждого гостя. Уже через пару дней после того, как он приступил к работе, склад Авраама стал самым людным местом во всей Крайове.

Спустя несколько дней после прибытия в Крайову начинается праздник Тиша бе-Ав. Это воспоминание о разрушении храма – время темное и мрачное, день печали; мир в эти мгновения тоже замедляет свое движение, словно скорбит и от скорби делается шатким. Евреи, около дюжины домов, закрывают свои лавки, не работают, сидят в тени и читают «Плач Иеремии»⁸⁴, предаваясь воспоминаниям о несчастье.

Аврааму это на руку, он правоверный, последователь Шабтая Цви и его преемника Барухии, и празднует этот праздник по-своему, памятуя, что в последние времена все следует делать наоборот. Для него это праздник радостный.

Барухия родился ровно через девять месяцев после смерти Шабтая Цви, причем в девятый день месяца ав, как и было предсказано! Да еще в день траура, в день разрушения храма. АМИРА, как записывалось имя Шабтая, то есть Адонейну Малкейну Ярум Ходо – «Наш Господь и Царь, Его Величество да будет превознесен», вернулся и жил эти годы под именем Барухии в Салониках. В 5476 году, то есть в христианском 1726-м, он был признан воплощением Бога, и на него низошла Шхина, которая ранее низошла на Шабтая. Поэтому все, кто уверовал в миссию Барухии, превращают день траура в день радости – к ужасу прочих евреев. Женщины моют голову и сушат волосы во дворе, на августовском солнце, прибирают в домах, украшают их цветами, подметают полы, чтобы Мессия мог войти в опрятный мир. Мир страшен, это верно, но, пожалуй, кое-где его можно сделать хотя бы немного чище.

Ибо в этот самый скверный, самый темный день рождается свет. На самом дне печали и скорби кроется толика радости и праздника – и наоборот. Исаия говорит, 61:3: «Вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда». Вот и отлично: клиенты всех мастей, одежды и языков приходят к Аврааму. Яков и Гершеле уже в конторе. Кто пересчитает мешочки с табаком и сколько их уместится в повозке? Много. Кто выдаст товар вроцлавскому торговцу, который расплачивается наличными и делает крупные заказы?

Клиенты, даже самые ярые враги последователей Шабтая Цви, не могут подавить любопытство и также заглядывают внутрь. Они отказываются принять рюмку водки из рук вероотступника.

– Най, най, най, – восклицают в ужасе. Яков пускается на разные уловки, чтобы напугать их еще больше. Лучше всего выходит у него та, где он спрашивает клиента, что у того в кармане.

– Ничего, – отвечает удивленный гость.

– А вот эти яйца? Украл ведь? Ну, скажи, в какой лавке ты их спер?

– Какие яйца? – изумляется клиент. – О чем ты говоришь?

Тогда Яков смело лезет в его карман и достает яйцо. Толпа разражается смехом, лицо гостя багровеет, он не знает, что сказать, и это смешит людей еще больше. Яков делает вид, что сердится – ай, как нехорошо, сводит брови, смотрит своим птичьим взглядом:

– Почему же ты не заплатил? Ты – вор! Похититель яиц!

Вскоре уже все вокруг повторяют эти слова, пока сам обвиняемый не привыкает к мысли, что в самом деле украл, пускай даже сам того не заметив. Однако тут несчастный замечает чуть приподнятую бровь Якова, его веселые глаза, начинает улыбаться, а потом хохотать –

⁸⁴ Книга Ветхого Завета.

похоже, ничего не остается, кроме как смириться с тем, что над ним подшутили, выставили на посмешище, и уйти восвояси.

Гершеле это ничуть не смешит. Если бы с ним такое произошло, если бы у него в кармане обнаружили яйцо, он бы умер от стыда. Гершеле еще нет тринадцати, его прислала сюда родня после смерти отца с матерью. Раньше мальчик жил в Черновцах; теперь, вероятно, останется у Авраама, своего дальнего родственника.

Он не знает, как соблюдают пост в Тиша бе-Ав, его не просветили, не объяснили, почему здесь в этот день радуются, ведь остальные грустят. У них в доме, когда отмечался этот праздник, царила печаль. А у тети с дядей всё иначе, но никто ему не растолковал эти религиозные нюансы. Он уже знает, что Шабтай – Мессия, но почему он не спас мир, не изменил его, это Гершеле неведомо. Чем спасенный мир будет отличаться от неспасенного? Для родителей, людей простых, это было очевидно: Мессия появится в обличье воина, сотрет с лица земли султанов, царей и императоров, завладеет миром. Иерусалимский Храм сам отстроится заново, либо Бог ниспошлет его с небес готовым, весь в золоте. Все евреи вернутся в Землю Израиля. Сначала воскреснут те, кто там похоронен, а потом и те, кто покоится где-то в мире, за пределами Святой земли.

Но здесь считают иначе. Он расспрашивал по дороге. Рассказывали Мордехай и Нахман, Яков молчал.

Странное спасение, которого нельзя увидеть. Это происходит не здесь, не в круге видимого, но где-то – это Гершеле не очень понятно – в другом измерении, рядом с видимым миром или с изнанки. Мессия уже пришел и незаметно передвинул рычаг мира, словно вброд колодца. Теперь все наоборот: вода в реке возвращается к истоку, дождь – обратно в тучи, кровь – в рану. Оказывается, законы Моисея – временные, они были созданы только для мира, каким он являлся до спасения, и больше не действуют. Или иначе: следует вывернуть их наизнанку. Когда обычные иудеи постятся – есть и пить, а когда печалются – веселиться.

До Гершеле никому особо нет дела, его считают дурачком. Иногда Яков смотрит на него таким взглядом, что мальчик заливается краской. Он помогает Якову, чистит его одежду, подметает контору, варит каффу. Вечером, когда подсчитывают выручку, вписывает цифры в соответствующие колонки.

Он ни в чем не уверен и стесняется спросить, все это овеяно какой-то тайной. Поскольку Гершеле еще не прошел бар-мицву, его не пускают, когда они собираются для молитвы за закрытой дверью. Надо ему поститься или нет?

Так что в день Большого поста в Тиша бе-Ав Гершеле убирает в погребе, сметает хлопковую пыль и мышиный помет. Он не ел с самого утра – пост ведь. Так поступали дома. Мальчику не хотелось смотреть, как там наверху едят – Яков и все прочие. Но голод не тетка, в животе урчит. В погребе хранятся вино и морковь. А еще стоят в холодильнике горшки с компотом. Можно было бы его попробовать. Но Гершеле не может решиться, не может заставить себя поесть, ведь всю его предыдущую жизнь в пост есть не полагалось, поэтому он берет из компота вишенку и съедает половину. Если Шабтай Цви – Мессия, Гершеле подчиняется приказу и, согласно новому закону, нарушает старый, а если нет, тогда Гершеле по-прежнему постится: ведь что такое одна маленькая вишенка за весь день?

Утром он спросил об этом Якова. Показал ему Тракта́т Йома⁸⁵, в восьмой главе которого говорится:

«Съевший с большую котевет⁸⁶ – величиной с нее и с ее косточку – и выпивший полный глоток подлежат наказанию. Все виды пищи присоединяются к величине котевет, и все виды напитков присоединяются к величине полного глотка. Ест и пьет – это не соединяется».

⁸⁵ Тракта́т, посвященный законам праздника Йом-кипур.

⁸⁶ Галахический термин, обозначающий минимум пищи, съевший который преступает запрет есть в Йом-кипур (*древнеевр.*

Яков смотрит на текст и на взволнованного Гершеле с притворной серьезностью. Потом вдруг раздражается смехом. Смех у него всегда глубокий, будто доносится из самого живота, заразительный, на всю Крайову, так что Гершеле невольно ему вторит; сначала просто улыбается, потом начинает хихикать. Наконец Яков берет его за руку, привлекает к себе и целует удивленного мальчика в губы.

Гершеле задается вопросом, не скушает ли молодой муж по жене, которую оставил с отцом; она шлет ему любовные письма, то и дело зовет обратно или спрашивает, когда он забрет ее к себе. Он знает, потому что тайком, когда Яков не видит, читает письма. Иногда мальчик представляет себе белую руку, которая выводит эти буквы. Это доставляет ему удовольствие. Яков письма не прячет, бумаги у него в беспорядке, списки заказов разбросаны по столу, и Гершеле пытается их как-то разобрать и систематизировать. Он сопровождает Якова, когда тот отправляется к клиентам, а точнее к клиенткам, богатым мещанкам, чьи мужья находятся в отъезде, женам капитанов и вдовам, которые посылают за Яковым – непременно за ним, – чтобы показал им, что есть на продажу. У него с Гершеле договоренность: если Яков, вроде как по рассеянности, случайно роняет кошелек, мальчик должен извиниться и выйти. Тогда он ждет Якова на улице – глаз с двери не спускает.

Яков выходит широким шагом, он всегда так ходит: расставив ноги, ступни чуть в стороны и поправляя шаровары – он носит турецкое платье. Смотрит на Гершеле торжествующе. Принятым у турок жестом удовлетворенно похлопывает себя по ширинке. Интересно, что привлекает женщин в этом мужчине? Они всегда ощущают и узнают в мужчине нечто, что чувствует и Гершеле. Яков красив – куда бы он ни пришел, всё обретает смысл, гармонию, словно кто-то сделал уборку.

Яков пообещал Тове много учиться, но Гершеле видит, что чтение ему докучает: энтузиазм, которым заразили его реб Мордке и Нахман, иссяк. Книги – сами по себе, он – сам по себе. Длинные письма из Польши, от Нахмана, иной раз по несколько дней валяются нераспечатанными. Гершеле собирает эти письма, читает и складывает в стопку. Гораздо больше Якова сейчас интересуют деньги. Он хранит у двоюродного брата Авраама все, что заработал за год. Хочет купить дом и виноградник в Никополе или Джурджу. Так, чтобы окна выходили на Дунай и виноградная лоза поднималась по деревянным подпоркам, образуя зеленые стены и зеленую крышу. Тогда он привезет Хану. Сейчас Яков дурачится с клиентами или вдруг посреди дня уходит и где-то пропадает. Видимо, у него свои дела, что не очень нравится Аврааму. Он спрашивает Гершеле, и мальчику, хочешь не хочешь, приходится прикрывать Якова. Он делает это охотно. Выдумывает всякую всячину. Что, мол, Яков ходил на берег реки молиться, брал у кого-то книги, договаривался с клиентами, присматривал за разгрузкой товара. Когда Яков впервые зовет Гершеле к себе в постель, тот не протестует. Отдается ему целиком и полностью, пылая, как факел, и, если бы это было возможно, отдал бы ему еще больше – даже свою жизнь. Яков называет это Маасим Зарим – странные, парадоксальные действия, переворачивающие с ног на голову Закон, который под действием очищающего пламени Мессии тлеет, как старая влажная тряпка.

О жемчуге и Хане

Яков решает подарить Хане драгоценную жемчужину. Несколько дней они с Гершеле обследуют ювелирные лавки. Яков благоговейно достает жемчужину из ящичка, где она покоится на кусочке шелка. Каждый, кто берет ее в руки, принимается восторженно моргать и причмокивать: чудо, а не жемчуг. Стоит целое состояние. Яков смакует этот восторг. Но потом ювелир возвращает жемчужину, словно застрявшую между пальцами щепотку света: нет, он не

рискнет просверлить ее, это сокровище может треснуть – такой урон. Попробуйте поговорить с кем-нибудь еще. Яков злится. Дома он кладет жемчужину на стол и молча вглядывается в нее. Гершеле протягивает Якову миску оливок, которые он так любит. Потом придется по всей комнате собирать косточки.

– Больше не к кому идти. Трусые, они боятся этой жемчужины, – говорит Яков.

Когда он зол, то движения его становятся более быстрыми, чем обычно, и угловатыми. Яков морщит лоб и сводит брови. В эти мгновения Гершеле боится Якова, хотя он ни разу не обидел мальчика. Гершеле знает, что Яков его любит.

Наконец Яков велит ему собираться, они надевают самую старую, самую поношенную одежду, идут на пристань и на пароме переправляются через реку. Там, на другом берегу, заходят в первую попавшуюся шлифовальную лавку. Тон и жесты Якова решительны: он приказывает проделать в этой искусственной жемчужине – особой ценности она не имеет, так, мишура, объясняет Яков ювелиру, – отверстие.

– Хочу подарить девушке. – Яков достает свое сокровище из кармана и, продолжая непринужденно беседовать, бросает на блюдо. Шлифовщик берет жемчужину смело, без восторгов и вздохов, вставляет в тиски и, не прерывая разговора, проделывает в ней дырку; сверло идет как по маслу. Получает небольшую сумму и возвращается к своим делам.

На улице Яков говорит изумленному Гершеле:

– Вот как следует поступать. Не деликатничать. Запомни хорошенько.

Эти слова производят на Гершеле огромное впечатление. Отныне он хочет быть похожим на Якова. Кроме того, близость Якова вызывает в нем непонятное возбуждение, тепло разливается по его худощавому тельцу, и мальчик чувствует себя сильным и защищенным.

На Хануку они едут в Никополь, за Ханой. Молодая жена выбегает навстречу еще прежде, чем Яков выбирается из повозки, нагруженный подарками для всей семьи. Они здороваются сдержанно, немного натянуто. Здесь все относится к Якову так, будто он не обычный купец, а кто-то более важный, и сам Яков делается очень серьезным – мальчик никогда его таким не видел. Яков целует Хану в лоб, по-отцовски. Приветствует Тову, как если бы они оба были царями. Ему выделяют отдельную комнату, но Яков тут же отправляется к Хане в женскую часть дома, однако Гершеле все равно оставляет ему расстеленную кровать, а сам спит на полу у печки.

Днем они едят, пьют, а молятся без всяких тфилинов⁸⁷. Кроме того, мальчик видит, что кухня здесь не кошерная, режут обычный турецкий хлеб, макают его в пряное оливковое масло, сыр ломают руками. Сидят на полу, как турки. Женщины носят широкие шаровары из легкой ткани.

Хане приходит в голову идея навестить свою сестру в Видине. Сначала она обращается к отцу, но тот смотрит укоризненно, и Хана довольно быстро понимает, что спрашивать следует мужа. Она забавляется жемчужиной, висящей на золотой цепочке, – подарок Якова. Видно, ей надоело жить с родителями, хочется похвастаться тем, что она замужем, хочется, чтобы Яков принадлежал только ей, хочется путешествовать, хочется перемен. Гершеле видит, что это еще ребенок: подобно ему самому, Хана лишь притворяется взрослой женщиной. Однажды мальчик наблюдает за ней, когда Хана моется в конце сада, в его северной части. Пухленькая, с широкими бедрами и большими ягодицами.

За эти три дня пути по Дунаю от Никополя до Видина Гершеле влюбляется в Хану. Теперь он любит ее и Якова одной любовью. Это странное состояние: Гершеле одержим желанием быть с ней. Не может забыть ее ягодицы, большие и такие нежные, невинные, – ему бы хотелось владеть ими бесконечно долго.

⁸⁷ Элемент молитвенного облачения иудея: две коробочки из выкрашенной черной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы и повязываемые на лоб и руку.

Перед самым Видином Яков с Ханой велют отвезти их за город, к скалам. Гершеле правит лошастью и, краем глаза увидав, куда запустил руку Яков, крепче сжимает поводья. Оставив мальчика с повозкой, точно слугу, супруги исчезают среди скал, которые напоминают окаменевших монстров. Гершеле знает, что быстро они не управятся, поэтому раскуривает трубку и добавляет туда немного опиума, который дал ему Яков. Подражая старому реб Мордке, затягивается, и линия горизонта внезапно становится размытой. Гершеле прислоняется к скале и наблюдает за коричневыми кузнечиками, огромными и угловатыми. А подняв взгляд к скалам, видит, что этот белокаменный город простирается до самого горизонта, и вот ведь удивительно: город смотрит на людей, а не наоборот. Гершеле не знает, как объяснить, что камни на них смотрят. Да он и не удивляется. И тоже смотрит. Видит обнаженную Хану, которая упирается раскинутыми руками о каменную стену, прижавшегося к ее спине полуобнаженного Якова, который двигается медленно и ритмично. Внезапно Яков смотрит на Гершеле, сидящего на козлах, глядит издалека, и мальчик ощущает прикосновение этого взгляда – такой он горячий и мощный. У Гершеле моментально возникает эрекция, так что коричневые кузнечики теперь сталкиваются на своем пути с серьезным препятствием. Их, наверное, удивляет это огромное пятно органического вещества, внезапно низвергнутого в их мир с небес.

Кем является тот, кто собирает травы на Афоне

На небольшом суденышке Антоний Коссаковский переправляется из порта Девелики к пристани у подножия горы. Он безмерно взволнован; боль, которая еще недавно давила грудь, исчезла бесследно – то ли от морского воздуха и ветра, который, отталкиваясь от крутого берега, приобретает специфический привкус смолы и трав, то ли от близости к святыне.

Он размышляет о резкой перемене в собственном настроении и самочувствии. Перемене глубокой и неожиданной, потому что, перебравшись много лет назад из холодной России в греческие и турецкие края, он моментально стал другим человеком, можно сказать: светлым и легким. Неужели все так просто: достаточно света и тепла? Больше солнца – значит, цвета становятся более насыщенными, а из-за того, что земля горячая, запахи ошеломляют. Здесь больше неба, и кажется, будто миром управляют другие механизмы, нежели те, что действуют на севере. Здесь все еще чувствуется сила Рока, греческого Фатума, который передвигает людей и определяет их пути – словно ручейки песчинок, стекающие по дюнам и образующие фигуры, каких не постыдился бы первоклассный скульптор, причудливые, призрачные, изысканные.

Здесь, на юге, все это очень ощутимо. Все растет на солнце и прячется в жару. Осознание этого приносит Антонию Коссаковскому облегчение, он становится ласковее к самому себе. Иногда ему хочется плакать – настолько свободным он себя чувствует.

Антоний замечает, что чем дальше на юг, чем слабее христианство, чем больше солнца и слаще вино, чем, наконец, больше греческого Фатума – тем лучше живется. Его решения – не его, они приходят извне, встроены в мировой порядок. А раз так, значит, меньшую несешь ответственность, меньше этого внутреннего стыда, невыносимого чувства вины за все совершенное. Здесь каждый поступок можно исправить, можно договориться с богами, принести им жертву. Поэтому на свое отражение в воде можно глядеть с уважением. И на других смотреть с любовью. Дурных людей нет, ни одного убийцу нельзя осудить, так как он является частью более масштабного плана. Можно любить и палача, и жертву. Люди добры и сердечны. Происходящее зло исходит не от них, а от мира. Мир бывает злым – о да!

Однако чем дальше на север, тем больше человек сосредотачивается на себе и, подавшись некоему северному безумию (вероятно, из-за отсутствия солнца), взваливает на себя слишком много. Ощущает ответственность за свои действия. Фатум дырявят капли дождя, а снежинки окончательно разрушают; вскоре от него не остается и следа. Только губительное для всякого человека убеждение, поддерживаемое Властелином Севера, то есть Церковью, и его вездесущими служителями, будто все зло сосредоточено в человеке и самому его исправить невозможно. Можно только простить. Но до конца ли? Отсюда это мучительное, убийственное чувство, что ты всегда виновен, от рождения, что погряз в грехе и что всё есть грех: поступок и бездействие, любовь и ненависть, слово и сама мысль. Знание – грех и невежество – грех.

Он устраивается на постоялом дворе для паломников, которым заправляет женщина, именуемая здесь Иреной или Матерью. Невысокая, миниатюрная, со смуглым лицом, всегда в черном; иногда ветер выдергивает из-под черного платка уже совершенно седые волосы. Хотя она – трактирщица, все относятся к ней с большим уважением, как к монахине, хотя известно, что где-то на свете у нее есть взрослые дети и она вдова. Эта Ирена каждый вечер и каждое утро созывает паломников на молитву и сама запекает таким чистым голосом, что сердца паломников распаиваются ей навстречу. Ирене помогают две вроде как девки – так поначалу думал Коссаковский и лишь спустя несколько дней понял, что, хотя на первый взгляд они напоминают девиц, это, вероятно, кастраты, просто с грудью. Ему приходится себя кон-

тролировать, не позволять глазеть на этих девушек – или юношей, – потому что иначе они показывают ему язык. Кто-то рассказал ему, что на постоялом дворе здесь уже сотни лет всегда заправляет какая-нибудь Ирена, так заведено. Эта Ирена родом с севера; она говорит по-гречески не совсем чисто, вставляет иностранные слова, часто знакомые Антонию, – вероятно, это валашка или сербка.

Вокруг одни мужчины, нет ни одной женщины (кроме Ирены, но женщина ли она?), даже животных женского пола нет. Чтобы монахи не отвлекались. Коссаковский пытается сосредоточиться на ползущем по тропинке жуке с зеленоватыми крыльями. Интересно, это тоже самец?..

Вместе с другими паломниками Коссаковский поднимается на гору, но в монастырь их не пускают. Таким, как он, отведено особое место в каменном доме, у священной стены, там они спят и едят. Утро и вечер посвящены молитве согласно учению святителя Григория Паламы. Молитва заключается в том, чтобы без конца, тысячу раз в день, твердить: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного». Молящиеся сидят на земле, сбившись в кучу, голова опущена к животу, словно они эмбрионы, словно еще не родились; при этом надо как можно дольше задерживать дыхание.

Утром и вечером чей-то высокий мужской голос созывает их на совместную молитву: по всей округе разносится славянское «Молидба-а-а, молидба-а-а». Услыхав этот призыв, все паломники немедленно бросают свои занятия и поспешно направляются на гору, к монастырю. Коссаковскому это напоминает поведение птиц после того, как одна из них заметит хищника.

Днем Коссаковский трудится в портовом саду.

Еще он нанялся в порту носильщиком – помогает разгружать корабли, которые заходят сюда один-два раза в день. Дело не в тех грошах, которые ему за это дают, а в том, чтобы находиться среди людей, кроме того, он получает возможность изредка подняться в монастырь и попасть во внешний двор. Там привратник, крепкий монах в расцвете сил, забирает удовольствие и товары, дает носильщикам напиться холодной, почти ледяной воды и угощает оливками. Однако такая работа выпадает нечасто, потому что у монахов почти все свое.

Поначалу Коссаковский сопротивляется, смотрит на одержимых религиозной манией паломников иронически. С большей охотой он прогуливается по окружающим монастырь каменистым тропам, по нагретой земле, то и дело прорезаемой крохотными смычками цикад, земле, которой смесь трав и смол придает запах чего-то съедобного, словно бы высохшего пряного пирога. Во время этих прогулок Коссаковский воображает, что здесь когда-то жили греческие боги, те самые, о которых он узнал в доме своего дяди. Теперь они возвращаются. В сверкающих золотом одеждах, с очень светлой кожей, выше человеческого роста. Иногда Коссаковскому кажется, будто он идет по их стопам – возможно, достаточно ускорить шаг, чтобы догнать Афродиту, увидеть ее великолепную наготу; аромат иссопа на мгновение представляется полузвериным запахом потного Пана. Коссаковский напрягает воображение, глазами которого хочет их увидеть – они ему нужны. Боги. Бог. От их присутствия в смолистом аромате, и особенно тайного присутствия некой липкой и сладковатой силы, пульсирующей в каждом существе, мир кажется наполненным до краев. Антоний делает усилие, чтобы представить себе – присутствие. Член набухает, и, хочешь не хочешь, на этой святой горе Коссаковский вынужден заняться рукоблудием.

Но вот однажды, когда ему кажется, что он абсолютно счастлив, ровно в полдень, Антоний засыпает в тени какого-то куста. Внезапно его будит шум моря, который теперь кажется зловещим, хотя не умолкал все это время. Встрепенувшись, Коссаковский озирается. Высокое мощное солнце разделяет все на светлое и темное, на сияние и тень. Все застыло, он видит вдали замершие неподвижно морские волны, над ними висит, словно пригвожденная к небу, одинокая чайка. Сердце бешено колотится где-то в горле, Антоний хочет встать, опирается на руку, и трава под его ладонью рассыпается в пыль. Ему нечем дышать, горизонт угрожающе

приближается, его спокойная линия вот-вот совется в петлю. И Коссаковский понимает, что этот завывающий шум моря – плач и вся природа участвует в оплакивании богов, которых мир так жаждет. Здесь никого нет, Бог создал мир и, изнуренный усилием, умер. Потребовалось забраться так далеко, чтобы это понять.

Поэтому Коссаковский начинает молиться.

Но у него ничего не получается. Напрасно он наклоняет голову к животу, сворачивается клубком, напоминающим тот, который тело образовывало до рождения, – так, как его учили. Покой не наступает, дыхание выровнять не удастся, а слова «Господи Иисусе Христе...», механически повторяемые, не приносят никакого облегчения. Коссаковский чувствует только свой запах – зрелого, потного мужчины. Ничего больше.

На следующее утро, не обращая внимания на упреки Ирены и невыполненные обязанности, он садится на первый попавшийся парусник и даже не спрашивает, куда тот следует. Еще слышит доносящийся с берега зов – «Молидба-а-а, молидба-а-а», – и Антонию кажется, будто остров зовет его. Лишь в море он узнает, что плывет в Смирну.

В Смирне все складывается очень удачно. Коссаковский устраивается к тринитариям, и впервые за долгое время ему удастся заработать неплохие деньги. Он ни на чем не экономит: покупает приличное турецкое платье и заказывает вино. Пьет Коссаковский с большим удовольствием, только нужна подходящая компания. Он замечает, что, когда в разговоре с христианами упоминает о своем путешествии на гору Афон, это неизменно вызывает интерес, поэтому каждый вечер украшает свою историю новыми деталями, и в конце концов та превращается в бесконечную вереницу приключений. Антоний говорит, что его зовут Моливда. Ему нравится это новое прозвание – ведь не имя же. Моливда – нечто большее, чем имя, это новый герб, вывеска. От прежнего наименования – имени и фамилии, которые уже немного жмут, обветшали и сделались какими-то непрочными, словно мысли, Коссаковский почти полностью отказывается. Использует лишь при общении с братьями-тринитариями. Антоний Коссаковский – что от него осталось?

Теперь Моливде хочется взглянуть на свою жизнь с некоторой дистанции, вроде той, какой обладают встреченные здесь евреи из Польши. Днем они занимаются делами, сосредоточенны и всегда в хорошем настроении. Вечерами ведут бесконечные разговоры. Поначалу Моливда подслушивает – они думают, что он их не понимает. Вроде бы евреи, а Моливда ощущает в них нечто близкое. Ему даже приходит в голову, что, возможно, воздух, свет, вода, природа каким-то образом оседают в человеке и между теми, кто вырос в одном краю, должно быть сходство – несмотря на все различия.

Моливде больше всего нравится Нахман. Он смышлен и хорошо говорит, в споре умеет так вывернуться, чтобы доказать любой тезис, даже самый абсурдный. А еще задает вопросы, которые удивляют Моливду-Коссаковского. Однако тот видит: обширные познания и ум этих людей расходятся на какие-то причудливые игры со словами, о которых у него имеется лишь самое общее представление. Однажды, купив корзину оливок и большой кувшин вина, Моливда отправляется к ним. И вот они едят эти оливки, выплевывают косточки под ноги запоздалым прохожим – уже опускаются сумерки, и смирненская жара, влажная и липкая, немного отпускает. Вдруг старший, реб Мордке, начинает лекцию о душе. Что на самом деле она тройственна. Самая низшая, та, что связана с голодом, холодом и вожделением, – это нефеш. У домашних животных она тоже есть.

– Сома, – говорит Моливда.

Та, что выше, – дух, руах. Она оживляет наши мысли, делает нас хорошими людьми.

– Психея, – говорит Моливда.

Третья, самая высшая, – нешама.

– Пнеума, – говорит Моливда и добавляет: – Тоже мне открытие!

Реб Мордке, нимало не смутившись, продолжает:

– Это подлинная святость души, доступная лишь доброму святому мужу, каббалисту; обрести ее можно, только углубившись в тайну познания Торы. Она дает нам возможность увидеть скрытую природу мира и Бога, ибо это искра, брызнувшая от Бины, божественного интеллекта. Только нефеш способна грешить. Руах и нешама безгрешны.

– Если нешама есть Божья искра в человеке, как может Бог карать за грех адом, ведь таким образом он карает и себя самого в частичке себя? – спрашивает Моливда, уже немного навеселе, и этим вопросом завоевывает симпатию обоих мужчин. Все они знают ответ на этот вопрос. Где есть Бог, великий, величайший, там нет ни греха, ни чувства вины. Лишь маленькие боги производят грех, подобно тому как бесчестные ремесленники подделывают монеты.

После работы у тринитариев они сидят в кахвехане. Моливда научился получать удовольствие от питья горькой каффы и курения длинных турецких трубок.

Моливда принимает участие в выкупе Петра Андрусевича из Бучача за 600 злотых и Анны из Попеляв, которая несколько лет провела при дворе Хусейна Байрактара из Смирны, за 450 злотых. Он так хорошо запомнил эти имена, потому что составлял договоры о выкупе на турецком и польском языках. Он знает цены, которые платят в Смирне за людей: за некоего Томаша Цибульского, сорокашестилетнего шляхтича, квартирмейстера Яблоновского полка, находившегося в плену девять лет, была выплачена солидная сумма – 2700 злотых, и его немедленно, снабдив провожатыми, отправили в Польшу. За детей платили 618 злотых, а за старичка Яна пришлось уплатить всего 18. Старичок родом из Опатова, весом с козлика; всю жизнь провел в турецком плену, и теперь, похоже, ему не к кому возвращаться, однако радость его огромна. Моливда видит, как слезы текут по морщинистому, выжженному солнцем старческому лицу. Внимательно рассматривает цветущую панну Анну. Моливде нравятся властность и надменность, с которой она относится к тринитариям и к нему самому, переводчику. Он не может понять, почему богатый турок отправляет такую красивую женщину. Судя по ее рассказам, он сделал это из любви: пленница скучала по дому. Через несколько дней Анна сядет на корабль, следующий в Салоники, а затем по суше направится в Польшу, но Моливда, охваченный какой-то необъяснимой страстью, искушаемый ее роскошным белым телом, вдруг снова бросает все на чашу весов, соглашается на ее безумный план – бежать. Ибо Анна Попелявская не собирается возвращаться в Польшу, в скучную усадьбу где-то в Полесье. Моливда даже не успевает попрощаться со своими друзьями. Верхом они отправляются в небольшой портовый город к северу от Смирны и там на деньги Моливды снимают дом, где на протяжении двух недель предаются всевозможным удовольствиям. После обеда сидят на большом балконе с видом на набережную, где в это время каждый день прогуливаются турецкие аги и их янычары. У янычар на шапках белые перья, а их командир носит пурпурный плащ, подбитый тонкой серебряной тканью, которая блестит на солнце, точно брюхо рыбы, только что вытащенной на берег.

В жару на балконах возлежат на оттоманках христианки, жены греческих купцов, и строят глазки рисующимся перед ними молодым людям. Поведение, немислимое для турчанок. Вот и Анна Попелявская, блондинка, строит глазки одному аге. Между ними завязывается короткий разговор, Моливда в это время читает в задней части дома, в тени. Назавтра Анна Попелявская исчезает, забрав все деньги, которые Моливда заработал у тринитариев.

Моливда возвращается в Смирну, но тринитарии уже нашли себе другого драгомана, а двое разговорчивых евреев исчезли. Моливда нанимается на корабль и возвращается в Грецию.

Вглядываясь в линию горизонта, прислушиваясь к плеску волн, бьющихся о борт, он обнаруживает в себе склонность к рефлексии. Мысли и картины образуют длинные ленты, их можно внимательно разглядывать и видеть, что из чего вытекает. Моливда вспоминает детство. Те годы кажутся жесткими, словно накрахмаленные рубашки, которые тетя выдавала ему и братьям на Пасху, – их шершавость лишь несколько дней спустя отступала под действием пота и тепла тела.

Детство вспоминается Моливде всякий раз, когда он оказывается в море, – непонятно почему, видимо, его необъятность вызывает головокружение; хочется за что-нибудь ухватиться.

У дяди, которому в знак приветствия полагалось, опустившись на колени, целовать руку, была вторая жена – юная, распространявшая вокруг себя небезопасную ауру, в ту пору для юного Антония совершенно непонятную: театра и притворства. Она происходила из якобы шляхетского рода, очень бедного, так что вынуждена была из кожи вон лезть, чтобы создать лучшую версию себя. Старания эти были забавны. Когда в поместье приезжали гости, она с показной нежностью гладила мужниных племянников по щеке, нежно хватала за ухо и хвалила: «Антось... ну, ему-то фортуна улыбнется». После ухода гостей тетка снимала с мальчиков парадную одежду и прятала в шкаф в сенях, точно в ожидании грядущего появления других, оставленных покойными родственниками сирот, на сей раз получше качеством.

Побег любовницы, море и это детское воспоминание рожают в Моливде чувство чудовищного одиночества. Единственное облегчение ему принесут вскоре валашские богомилы⁸⁸, которых люди упорно и ошибочно именуют филипповцами⁸⁹. Они позволят немного отдохнуть от собственного «я», расколотого надвое (что это за странная болезнь – никто еще, кажется, ею не страдал, невозможно и некому о ней поведать). Потому что Моливда свято верит, что это конец его жизни и никакого того света не предвидится.

⁸⁸ Антиклерикальное движение, возникшее на Балканах, в Средние века распространившееся по Европе и превратившееся в общеевропейское христианское движение (с другими названиями).

⁸⁹ Религиозно-оппозиционное течение в России.

Как в городе Крайове Моливда-Коссаковский встречает Якова

Через два года, весной 1753-го, Моливде – тридцать пять, на богомильской диете он немного похудел. Глаза светлые, водянистые, по ним трудно что-либо понять. Борода редкая, серовато-рыжеватая, цвета мешковины, а лицо загорело на солнце. На голове – белая турецкая чалма, очень грязная.

Моливда идет взглянуть на этого безумца, божьего человека, о котором все евреи говорят, будто в него вселилась душа Мессии, поэтому он ведет себя не по-людски. На своем веку Моливда таких повидал немало: можно подумать, душа Мессии только тем и занята, что в кого-нибудь вселяется.

Он не подходит слишком близко. Останавливается на другой стороне улочки, прислоняется к стене, медленными, спокойными движениями набивает трубку. Курит и наблюдает за творящимся тут столпотворением. Здесь толкуются в основном молодые люди, молоко-сосы-евреи да турки. Внутри здания что-то происходит, несколько мужчин протискиваются в дверь, слышны взрывы смеха.

Выкурив трубку, Моливда решает зайти. Ему приходится наклонить голову, пройти через темный коридор во двор, где небольшой колодец превратили в некое подобие фонтана. Тут прохладно, растет дерево с широкими листьями, под ним возлежат мужчины, почти все в турецком платье, но есть и несколько в еврейских лапсердаках – эти сидят не на земле, а на табуретках. Еще одетые по-валашски, бритоголовые мещане и два грека, которых он узнает по характерным шерстяным пальто. Собравшиеся мгновение подозрительно смотрят на Моливду, после чего к нему обращается худой мужчина с рябым лицом и спрашивает, зачем он пришел. Тогда Моливда на чистом турецком языке отвечает: «Послушать». Мужчина отодвигается, но неприязнь в его взгляде остается. Он поглядывает на Моливду подозрительно. Должно быть, они думают – он что-то вынюхивает. Ну и ладно.

Внутри широкого неплотного полукруга стоит одетый по-турецки высокий, хорошо сложенный мужчина. Говорит – довольно небрежно, пронзительным, вибрирующим голосом, так, что его трудно перебить. По-турецки, медленно, с каким-то странным, незнакомым акцентом, но не как ученый человек, а как купец, а может, даже бродяга. Использует слова родом с конного рынка, но иногда вдруг вставляет явно ученые выражения на греческом и на древнееврейском. Моливда невольно морщится: контраст слишком велик и производит неприятное впечатление. Он уже решает, что вряд ли услышит что-нибудь путное, но затем вдруг осознает, что это язык всех тех, кто его здесь окружает, этого скопища людей, постоянно находящихся в пути, а не язык книг, собранных в одном месте на благо немногих. Моливда еще не знает, что Яков на всех языках говорит с акцентом.

Лицо у этого Франка удлиненное, для турецкого еврея довольно светлое, кожа неровная, в особенности щеки покрыты мелкими ямками, вроде шрамов – будто след чего-то дурного, давнего прикосновения пламени. Есть в этом лице что-то тревожное, думает Моливда, невольно вызывающее уважение: взгляд Якова совершенно непроницаем.

Коссаковский с изумлением узнает старика, который сидит ближе всех к этому якобы пророку и курит трубку, при каждой затяжке прикрывая глаза. Борода у него густая, седая, пожелтевшая от табака; старик носит не чалму, а обычную феску, из-под которой выглядывают столь же пышные седые волосы. Моливда задумывается, пытаясь сообразить, где его видел.

– До чего же тесен мир, – говорит он старику по-турецки притворно безразличным тоном. Тот оборачивается, и в следующее мгновение дружелюбно улыбается в свою густую седую бороду.

– Смотрите-ка, это наш шляхтич, аристократ, – иронически говорит реб Мордке, указывая пальцем на Моливду и обращаясь к одноглазому мужчине, смуглому как араб. – Вижу, тебе удалось сбежать. – Он громко смеется, довольный, что чему-то довелось случиться дважды.

Они сердечно обнимаются и здороваются, будто добрые знакомые.

Моливда остается с ними до вечера и наблюдает постоянное движение: мужчины приходят и уходят, заглядывают ненадолго, потом возвращаются к своим делам, караванам, лавкам. Отойдя в сторонку, обмениваются адресами и именами турецких чиновников, которым можно дать взятку. Записывают в небольшие тетрадки, которые продаются в местных лавках. Затем как ни в чем не бывало присоединяются к беседе. Дискуссия не прекращается: звучит какой-нибудь вопрос, порой глупый, порой провокационный, и начинаются состязания – все хотят на него ответить, выкрикивают наперебой. Иногда собеседники не понимают друг друга: у некоторых такой акцент, что приходится все повторять дважды; имеются и переводчики – тут Моливда распознает идиш, на котором говорят в Польше, странную смесь немецкого, польского и древнееврейского. Услыхав ее, он испытывает неожиданное волнение. Нахман говорит так, как говорили любимая Малка и ее сестры, и Моливду тут же словно укутывают теплым покрывалом картинок из прошлого. Например: пшеница, поле до горизонта, светло-желтое, а по нему – темно-синие точки васильков; парное молоко и лежащий на столе только что отрезанный ломоть хлеба; пасечник в ореоле пчел, вытаскивающий облепленные медом соты.

Ну и что, ведь в Турции есть и мед, и хлеб. Моливде неловко. Он заталкивает неожиданно расцветший букет образов подальше, куда-то в глубь головы, и возвращается обратно; дискуссия тем временем постепенно иссякает; теперь пророк рассказывает всякие байки, при этом на лице его блуждает язвительная ухмылка. Живописует, как дрался с сотней разбойников, как рубил их, точно крапиву. Один человек его перебивает, выкрикнув что-то над головами собравшихся. Кое-кто уходит или отодвигается поглубже в тень олив и там, покуривая трубку, комментирует услышанное. Наконец слово берет Нахман. Он говорит учено и складно. Ссылается на Исаию. Его трудно переговорить. У него имеются доказательства на все случаи жизни. Цитируя нужный отрывок из священных книг, он возводит глаза к небу, точно где-то там, в воздухе, находится невидимая для других библиотека. Яков никак не реагирует на речи Нахмана – ни единым жестом. Когда тот заканчивает, Яков даже не кивает. Странная школа.

Публика начинает расходиться, и когда делается уже совсем темно, вокруг Франка собирается небольшая, но шумная группа молодежи. Они шатаются по городу, по его узким улочкам. Задирают прохожих, нарываясь на тумак. Комментируют выступления канатоходцев, пьют вино, хулиганят. Моливда с реб Мордке идут следом, отступя на несколько шагов, на всякий случай, чтобы, когда те устроят какую-нибудь потасовку, сделать вид, что они сами по себе. Компания под предводительством Якова обладает какой-то странной силой – словно это молодые самцы, в мелких стычках проверяющие, на что они способны. Моливде все это по душе. Ему хочется быть с ними, касаться их плечами, хлопать по спине, шагать рядом, вдыхая их запах – терпкого юношеского пота, ветра, пыли. У Якова на лице дерзкая усмешка, отчего он напоминает распалившегося мальчика. Моливда на мгновение ловит его взгляд и хочет поднять руку, чтобы помахать, но Яков успевает отвернуться. Торговки фруктами и лепешками избегают этой компании. Внезапно все на мгновение останавливаются, Моливда не видит, что там происходит, но терпеливо ждет, пока всё прояснится; покупает лепешку, политую сладким сиропом, и с удовольствием съедает. А там, впереди, шум, громкие возгласы, взрыв смеха. Очередной инцидент, затеянный Яковым. В чем дело на сей раз, неизвестно.

История ясновельможного пана Моливды, Антония Коссаковского, герб Слеповрон, фамильное прозвание Корвин

Он из Жмудзи, отец был гусаром коронной гвардии. У него пятеро братьев: один – военный, двое – ксендзы, а еще о двух ничего не известно. Один из ксендзов живет в Варшаве, раз в год они обмениваются письмами.

Коссаковский не был в Польше более двадцати лет. Ему приходится прилагать усилия, чтобы составить более-менее складное предложение на родном языке, но каким-то чудом думает Антоний все еще по-польски. Однако для многих тем ему не хватает слов. А поскольку пережил он много чего, польского не хватает для описания самого себя. Коссаковский обходится смесью греческого и турецкого. Теперь, когда он работает на евреев, к этому прибавились слова на древнееврейском. Моливда, описанный этими языками, предстает гибридом, каким-то диковинным существом, из антиподов.

По-польски он может рассказать о детстве в доме ковенского стольника Доминика, своего дяди, который после внезапной кончины обоих родителей Антония взял его вместе с пятью братьями на воспитание. Дядя оказался строг, и рука у него была тяжелая. Поймав на вранье или какой-нибудь уловке, бил по лицу наотмашь, со всей силы. В случае серьезных провинностей (когда, например, племянник тайком поел меда, а чтобы никто не заметил, долил в бидон воды, в результате мед испортился) доставал откуда-то кожаный хлыст – вероятно, использовавшийся для самобичевания, поскольку вся семья была очень набожной, – и хлестал по голой спине и ягодицам. Самого крепкого из братьев дядя пустил по военной стезе, двух более спокойных и уступчивых мальчиков отправил учиться на священников, а вот Антоний не годился ни в офицеры, ни в ксендзы. Он несколько раз убегал из дому, и слуги потом гонялись за ним по всей деревне или вытаскивали из какого-нибудь крестьянского сарая, где мальчик уснул, наплакавшись и устав. Методы воспитания в дядином доме были суровы и мучительны, но в конце концов появилась надежда, что Антоний выправится. Все-таки влиятельный дядя дал ему хорошее образование и в возрасте пятнадцати лет пристроил в канцелярию короля Станислава Лещинского⁹⁰. Юноше справили подобающее платье, купили сундук и сапоги, снабдили комплектами нижнего белья и носовых платков и отправили в Варшаву. Никто точно не знал, каковы его обязанности, поэтому Антоний красивым почерком переписывал бумаги и обрезал фитили у свечей. Писарям рассказывал, будто дядя нашел его в жмудзких лесах, выкормленного волчицей, оттого он и собачий язык хорошо понимает, и волчий, будто он – сын султана, зачатый, когда тот инкогнито навещал Радзивиллов. Наконец, когда ему надоело переписывать рапорты, Антоний спрятал стопку бумаг за тяжелой мебелью у окна, в котором были щели, поэтому документы отсырели и испортились. Случались и другие мальчишеские проступки – например, однажды старшие товарищи напоили его и бросили в борделе на Повислье⁹¹, где Антоний чуть не умер и потом три дня приходил в себя. Еще как-то юноша присвоил неосмотрительно доверенную ему сумму и на некоторое время сделался королем Повислья; кончилось все тем, что оставшиеся деньги украли, а самого его избили.

Моливда в последнее время часто думает, что бы было, останься он в канцелярии, и кем бы он теперь стал – может, большим человеком, королевским чиновником в столице, при новом короле, который редко бывает в Речи Посполитой и чаще появляется в пограничной Вхове. А теперь он кто?

⁹⁰ Станислав I Лещинский (1677–1766) – король польский и великий князь литовский (1704–1709, 1733–1734), последний герцог Лотарингии (1737–1766), тесть короля Франции Людовика XV.

⁹¹ Район Варшавы на берегу Вислы.

Из канцелярии Антония выставили, велев, чтобы больше ноги его там не было, сообщили дяде. Тот приехал, но устроить племяннику порку, как прежде, уже не решился – юноша, как ни крути, был королевским чиновником.

Поэтому в наказание дядя отослал его в имение покойной матери, которым управлял местный эконо́м, и велел обучаться агрономии – возделыванию земли, ягнению овец, разведению кур. Имение называлось Белевичи.

Антоний, молодой человек – двадцати не исполнилось, приехал сюда в конце зимы, когда земля еще не оттаяла. Первые несколько недель его так переполняли угрызения совести и отчаяние по поводу упущенных возможностей, что он почти не выходил из дома, горячо молился и слонялся по пустым комнатам в поисках следов покойной матери. Только в апреле юноша впервые отправился на мельницу.

Мельницу в Белевичах арендовал Мендель Козович, у которого были одни дочери; одну звали Малка и ее уже просватали за какого-то оборванца. Вскоре собирались сыграть свадьбу. Антоний ездил туда каждый день: якобы возил зерно, проверял, как идет помол, – вдруг заделался рачительным хозяином, – потом стал присматривать за помолом этого зерна и проверять качество муки. Брал в пальцы щепотку за щепоткой, подносил к носу, не отдает ли затхлостью, выходил весь в муке, будто внезапно поседевший. Но причина была не в муке, а в Малке. Она сказала, что ее имя означает «царица», хотя царицей не выглядела, скорее уж принцессой – миниатюрная, проворная, черноглазая, с невероятно сухой и теплой кожей, как у ящерицы, так что, когда однажды их руки соприкоснулись, Антоний услышал шорох и потрескивание.

Никто не обратил внимания на этот роман – может, его заслонили висевшие в воздухе мучные облака, а может, потому что отношения у Антония с Малкой были странные. Двое детей полюбили друг друга. Она была старше, совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы во время совместных прогулок показывать Антонию, под какими камнями водятся раки и где в роще растут рыжики. Это больше напоминало союз двух сирот.

В поле во время летней жатвы Антония никто не видел, да и дома он появлялся редко. К сентябрю, на еврейский Новый год, стало ясно, что Малка беременна, и кто-то, какой-то безумец, посоветовал Антонию похитить девушку, крестить и обвенчаться с ней: тогда обе семьи будут поставлены перед непреложным фактом, что усмирят их гнев.

Он действительно похитил Малку, отвез в город и там, подкупив ксендза, чтобы тот срочно крестил девушку, женился на ней. Крестным был сам Антоний, вторым попросили ризничего. Малку нарекли Малгожатой.

Однако этого было мало. Ничтожно мало. Когда они стояли рядом перед алтарем, кто-нибудь – в идеале кто-нибудь подобный Енте, которая видит всё, – мог бы сказать, что это мальчик и девочка, сверстники. Но на самом деле между ними была непреодолимая пропасть, глубочайшая, уходящая к самому центру Земли или даже дальше. Это сложно рассказать словами. Недостаточно сказать: она иудейка, а он христианин. Это мало что объяснит, потому что на самом деле они – а на первый взгляд и не скажешь – представители двух человеческих видов, пара существ, обманчиво схожих, а на самом деле совершенно различных: ведь она спасена не будет, а ему предстоит жить вечно. Так что Малка, даже еще пребывая в своем земном обличье, уже являлась пеплом и призраком. А с точки зрения мельника Козовича, арендующего мельницу у пана Доминика, они отличались друг от друга еще сильнее: Малка – настоящий человек, а Антоний – создание, лишь напоминающее человека, поддельное и в подлинном мире не заслуживающее внимания.

Молодожены, словно бы не подозревая об этих различиях, съездили на мельницу, но лишь однажды. С самого начала было ясно, что здесь для них места не будет никогда. Отец от горя занемог и слег. Малку пытались запереть в подвале, но ей удалось сбежать.



Ris 204. Panstwo Mlodzi

Антоний с молодой женой поселились в усадьбе, в Белевичах, но, как оказалось, всего на пару месяцев.

Прислуга встретила их сдержанно. Малку сразу стали навещать сестры; они все смелее заглядывали под салфетки, рылись в ящиках, ощупывали покрывала. Все вместе садились за стол: пять девочек и мальчик с едва пробивающимися усами. Накрывали тоже вместе, а потом, перед едой, пока молодожены крестились, девочки молились по-своему. Еврейско-детская республика. Девочки щебетали на идише, Антоний быстро уловил специфическое интонирование, а слова, казалось, сами просились на язык. Хорошая семья, идеальная, одни дети – без своей первопричины.

Спустя несколько месяцев возмущенный таким оборотом дел эконо́м написал дяде Доминику, и тот явился, грозный как туча. Когда молодой Антоний понял, что его сейчас при беременной жене высекут, супруги собрали вещи и поехали на мельницу. Однако Козович, опасаясь хозяина, от которого зависела его аренда, под покровом тьмы поспешно переправил их к родственникам в Литву. Там следы молодоженов затерялись.

О том, что заставляет людей тянуться друг к другу, и некоторые договоренности относительно переселения душ

Моливда все больше времени проводит на складе, где работает Яков. Торговля идет по утрам, пока еще не очень жарко, или поздно вечером. Тогда, часа через два после захода солнца, вместо чая постоянным клиентам подают вино.

Моливда хорошо знает Османа из Черновцов. Этому знанию поспособствовал кое-кто из турок, но кто именно – Моливда не скажет, он поклялся молчать. Тайна, скрытность, маска. Если взглянуть на эти секреты глазами Енты, которая видит всё, выяснится, что когда-то они виделись на тайных встречах бекташей⁹². Теперь просто здороваются, слегка кивая головой, даже не вступая в разговор.

Моливда тоже представляется давним клиентом. Самое сильное впечатление на собеседников производит то, что он – польский граф, Моливда сам это подчеркивает. На лицах евреев появляется выражение недоверия и какого-то детского почтения. Он бросает несколько слов на турецком и древнееврейском. Смех у него глубокий, заразительный. В течение сентября Моливда заходит к Якову ежедневно. Пока что он купил только шпильку с бирюзой, да и то Яков, к большому негодованию Нахмана, уступил ее возмутительно дешево. Реб Мордке тоже любит сидеть с ними, обсуждая что-нибудь – чем заковыристей, тем лучше.

Входят какие-то северяне, говорят на незнакомом языке. Нуссен занимается ими, из ученого превращаясь в торговца. Это еврейские купцы из Силезии, их интересуют малахит, опал и бирюза. Еще Яков показывает им жемчуг; предлагая товар, он повышает голос. Заключение сделки может занять многие часы, чай льется рекой, молодой Гершеле приносит сласти и шепчет Якову на ухо, что Авраам приказал показать им еще и ковры. Купцы капризничают и придираются, переговариваясь вполголоса на своем языке, уверенные, что никто их не понимает. Не стоит быть такими самонадеянными. Прикрыв свой единственный глаз, Нуссен слушает, а потом за занавеской, где сидит Нахман, докладывает:

– Их интересует только жемчуг, остальное уже купили, причем дороже. Жалеют, что сразу сюда не пришли.

Яков посылает Гершеле за жемчугом к Аврааму и в другие лавки. Поздним вечером ударяют по рукам, день можно считать на редкость удачным, и в самой большой комнате друзья

⁹² Суфийский орден, близкий к шиизму и содержащий элементы христианства, был распространен в Турции, Албании и Боснии, в основном среди перешедших в ислам бывших православных и униатов.

расстилают ковры и подушки, чтобы съесть поздний ужин, немедленно превращающийся в пир.

– Да, народ Израиля сожрет Левиафана! – восклицает Яков, как будто произносит тост, и кладет в рот кусок запеченного мяса; жир течет по подбородку. – Большое, огромное тело чудовища, вкусное и нежное, словно мясо перепела, словно нежная плоть рыбы. Народ станет питаться Левиафаном, пока не утолит свой многовековой голод.

Все смеются и шутят с набитым ртом.

– Ветер будет трепать белые скатерти, а кости мы станем бросать под стол собакам, – добавляет себе под нос Моливда.

Нахман, расслабившись после хорошего вина из погреба Якова, говорит Моливде:

– Когда смотришь на мир как на добро, зло представляется исключением, изъяном и ошибкой, и всё выглядит ужасно. Но если предположить обратное: будто мир есть зло, а добро – исключение, то все видится гармоничным и разумным. Почему мы закрываем глаза на очевидные вещи?

Моливда подхватывает тему:

– У меня в деревне считают, что мир разделен на две части, две силы, управляющие всем: хорошую и дурную...

– Что это за «твоя деревня»? – интересуется Нахман, не переставая жевать.

Моливда нетерпеливо отмахивается и продолжает:

– ...Нет человека, который не желал бы дурного другому человеку, нет государства, которому не понравилось бы падение другого государства, нет купца, который не хотел бы, чтобы другой купец пошел по миру... Подайте сюда того, кто это придумал. Кто так напортил!

– Моливда, успокойся, – увещевает его Нахман. – На вот, поешь. Ты не закусываешь, только пьешь.

Теперь все говорят наперебой – похоже, Моливда сунул палку в муравейник. Он отрывает кусок лепешки и макает его в приправленное травами оливковое масло.

– Как там у вас? – осмеливается спросить Нахман. – Показал бы нам, как вы живете.

– Ну, не знаю, – пытается отговориться Моливда. Его глаза слегка туманятся, он выпил лишку. – Тогда поклянись хранить тайну.

Нахман, не задумываясь ни на мгновение, кивает. Это кажется ему очевидным. Моливда подливает им вина; оно такое темное, что на губах остается фиолетовый налет.

– У нас вот как, я тебе честно скажу, – начинает Моливда, язык у него заплетается. – Все горизонтально: есть свет и тьма. Тьма атакует свет, а Бог создает людей, чтобы помогли – защищали свет.

Нахман отодвигает тарелку и смотрит на Моливду. Моливда заглядывает в его темные глубокие глаза, звуки пиршества отступают на задний план, и Нахман тихонько рассказывает о четырех величайших парадоксах, которые следует осмыслить; иначе никогда не станешь мыслящим человеком.

– Во-первых, чтобы создать законченный мир, Богу пришлось себя ограничить, но все еще остается бесконечная часть Бога, совершенно не вовлеченная в дело творения. Верно? – спрашивает он Моливду, чтобы убедиться, что тот понимает его язык.

Моливда кивает, и Нахман продолжает: если предположить, что идея сотворенного мира является одной из бесконечного числа идей бесконечного божественного разума, то она, безусловно, второстепенна и незначительна. Возможно, Бог даже не заметил, что он что-то создал. Нахман снова внимательно следит за реакцией Моливды. Моливда делает глубокий вдох.

– Во-вторых, – продолжает Нахман, – он безразличен к творению как бесконечно малой части божественного разума и лишь слегка в это творение вовлечен; с человеческой точки зрения, это безразличие может даже показаться неприязню.

Моливда залпом выпивает вино и со стуком ставит кружку на стол.

– В-третьих, – тихо продолжает Нахман, – Абсолют, будучи бесконечно совершенным, не имел причин для создания мира. Той его части, которая, тем не менее, заставила приступить к процессу творения, пришлось перехитрить остальные, и она по-прежнему это делает, а мы способствуем этим уловкам. Улавливаешь? Мы участвуем в этом поединке. И в-четвертых: поскольку Абсолют был вынужден себя ограничить, чтобы создать законченный мир, наш мир является для Него изгнанием. Понимаешь? Чтобы создать мир, всемогущему Богу пришлось стать слабым и безвольным, как женщина.

Они сидят и молчат – устали. Теперь до них снова доносятся звуки пиршества, голос Якова, рассказывающего скабрёзные анекдоты. Потом вконец опьяневший Моливда долго хлопает Нахмана по плечу, пока не становится предметом грубых шуток; наконец опускает голову ему на плечо и говорит куда-то в рукав:

– Я это знаю.

Моливда исчезает на несколько дней, затем на день-другой возвращается. Ночует у Якова.

Когда они сидят до вечера, Гершеле насыпает горячий пепел в тандыр, глиняную печь в земле. На него кладут ноги – кровь несет приятное ласковое тепло и согревает все тело.

– Он чибукли? – спрашивает Моливда Нахмана, глядя на Гершеле. Так турки называют гермафродитов, которых Бог снабдил тем, что позволяет им быть одновременно и женщиной, и мужчиной.

Нахман пожимает плечами:

– Он хороший мальчик. Очень преданный. Яков его любит.

Через некоторое время, чувствуя, что в обмен на откровенность может потребовать того же и от Моливды, интересуется:

– А правда, что о тебе говорят, будто ты бекташ?

– Так говорят?

– И что ты был на службе у султана... – Нахман мгновение колеблется. – Шпионил.

Моливда смотрит на свои сплетенные руки.

– Знаешь, Нахман, с ними хорошо водиться. Вот я с ними и вожусь.

И после паузы добавляет:

– В том, чтобы быть шпионом, тоже нет ничего плохого, лишь бы это шло на пользу чему-нибудь хорошему. Ты сам знаешь.

– Знаю. Чего ты от нас хочешь, Моливда?

– Ничего не хочу. Ты мне нравишься, а Яковом я восхищаюсь.

– У тебя, Моливда, высокий ум, запутавшийся в земных делах.

– Мы с тобой схожи.

Однако едва ли это убеждает Нахмана.

За несколько дней до отъезда Нахмана в Польшу Моливда приглашает их к себе. Он приезжает верхом со странной повозкой, в которую усаживает Нуссена, Нахмана и всех остальных. Яков и Моливда скачут впереди. Путь занимает около четырех часов, дорога непростая – узкая и в гору.

У Якова хорошее настроение, он поет своим красивым сильным голосом. Начинает с торжественных гимнов на древнем языке, а заканчивает еврейскими песенками, какие на свадьбах исполняет бадхен, шут, развлекающий гостей:

Что такое жизнь,
если не танец на могилах?

Закончив, он поет скабрёзные песенки о первой брачной ночи. Сильный голос Якова эхом отражается от скал. Моливда едет следом, отставая на полшага, и внезапно понимает,

почему этот странный человек так легко собирает вокруг себя публику. Яков абсолютно искренен во всем, что делает. Он – как тот сказочный колодец, который, что в него ни крикни, всегда отзывается одинаково.

Рассказ Якова о кольце

По дороге они отдыхают в тени оливковых деревьев, а перед ними открывается вид на Крайову. Таким крохотным кажется сейчас этот город – не больше носового платка. Нахман садится рядом с Яковом и, словно в шутку, привлекает к себе его голову, Яков поддается, и мгновение они возятся, точно молодые псы. Дети – думает о них Моливда.

На этих стоянках полагается рассказывать какую-нибудь историю. Пускай даже всем известную. Гершеле, чуть капризно, требует ту, что о кольце. Яков никогда не заставляет себя упрашивать и начинает рассказывать.

– Жил-был один человек, – начинает он. – У него было необычное кольцо, которое передавали из поколения в поколение. Носивший кольцо был счастлив, ему сопутствовала удача, однако в своем благополучии он не утрачивал сострадания к окружающим и не уклонялся от помощи им. Таким образом, кольцо всегда принадлежало хорошим людям, и они передавали его дальше.

Но однажды случилось так, что у родителей родилось сразу трое сыновей. Они выросли здоровыми и любили друг друга, всем делились и во всем друг другу помогали. Родители ломали голову, как поступить, когда дети вырастут и придется подарить кольцо кому-то одному. Они долго разговаривали по ночам, наконец мать предложила такое решение: отнести кольцо лучшему ювелиру и изготовить две копии. Ювелир должен сделать так, чтобы кольца были совершенно одинаковы и чтобы невозможно было узнать, какое из них настоящее. Долго искали, наконец нашли одного чрезвычайно талантливого мастера, которому ценой больших трудов и усилий удалось выполнить задание. Когда родители пришли за кольцами, ювелир перемешал их, чтобы нельзя было распознать, где подлинное, а где те, что сделаны по его образцу. К своему удивлению, мастер уже сам их не различал.

Когда дети достигли совершеннолетия, родители устроили шумный праздник, во время которого вручили сыновьям кольца. Юноши остались недовольны, хоть и попытались это скрыть, не желая огорчать родителей. В глубине души каждый из них верил, что получил настоящее кольцо; поэтому братья смотрели друг на друга подозрительно и недоверчиво. После смерти родителей они сразу обратились к судье, чтобы тот раз и навсегда развеял сомнения. Но даже мудрый судья не сумел это сделать и вместо того, чтобы вынести вердикт, сказал: «Говорят, эта драгоценность имеет свойство делать своего владельца угодным Богу и людям. Поскольку, как мне кажется, этого нельзя сказать ни об одном из вас, возможно, подлинное кольцо было утеряно. Поэтому живите так, словно ваше кольцо настоящее, а жизнь покажет, правда ли это».

Как эти три кольца – так и три религии. Родившийся в одной должен принять две другие, точно две туфли, и в них пройти путь к спасению.

Моливда знает эту историю. Недавно он слышал ее от мусульманина, с которым вел дела. А его самого очень тронула молитва Нахмана – Моливда подслушивал, как тот молится на еврейском языке. Он не уверен, все ли запомнил, но то, что осталось в памяти, передал при помощи польских слов, сложил вместе, и теперь, когда мысленно произносит эту молитву, наслаждаясь ее ритмом, во рту делается очень приятно, будто он лакомится чем-то вкусным, сладким.

Бьёт крылами и простора ищет,
Никогда в неволе не живёт.

Не журавль, да и не ворон хищный,
То душа моя зовёт в полёт.

Хоть железом, хоть заклатьем вечным,
Хоть сердечной привязью вяжи,
Прочь летит от смрада человеческих
Глупых сплетен, суеты и лжи.

Стены рухнут под её напором,
В тот же миг растает позади
Гул пустопорожних разговоров,
Долгих, как рассветы и дожди.

И парит она в потоке дивном
Вольных песен и прозрачных снов.
Что людей прельщает, ей противно.
То, что мудрым кажется, смешно.

Ей не важно, кто во что рядится,
В путь она готова налегке.
Нимбом перьев одаряет птицу
Свет неизъяснимый вдалеке.

Как назвать нездешнее словами,
Отвернув у занавеса край,
И понять, что будет завтра с нами,
Помоги мне, Отче, силы дай⁹³.

Однако эта сладость забытого языка мгновенно оборачивается невыносимой тоской.

ПОСКРЁБКИ. ЧТО МЫ УВИДЕЛИ У БОГОМИЛОВ МОЛИВДЫ

Как бы мне ни хотелось, я не могу записать всё, ведь вещи так тесно связаны друг с другом, что стоит коснуться кончиком пера одной, как она задевает другую, и в мгновение ока передо мной разливается большое море. Разве могут служить плотиной границы листа бумаги или след, оставленный моим пером? Как выразить все, что моя душа получила в этой жизни, да еще в одной книге?

Абулафия, которого я усердно изучал, утверждает, будто человеческая душа является частью большого космического потока, протекающего через всех живущих. Это единое движение, единая сила, но, когда человек рождается в материальном теле, когда он приходит в мир в обличье отдельного существа, этой душе приходится отделиться от остальных, иначе человек не смог бы жить – душа утонула бы в Божественном и человек моментально сошел с ума. Вот почему такая душа остается запечатанной, то есть на нее наложены печати, не дающие ей слиться с Божественным и позволяющие функционировать в законченном, ограниченном мире материи.

⁹³ Перевод А. Хованского.

Мы должны уметь сохранять равновесие. Если душа будет слишком жадной, слишком липкой, то слишком много чувственных форм проникнет в нее и отделит от потока Божественного.

Ибо сказано в старом речении: «Кто полон самим собой, тот не оставляет места для Бога».

Деревня Моливды состояла из дюжины небольших аккуратных каменных домов, крытых сланцем, между ними были проложены вымощенные камешками дорожки; домики беспорядочно разбросаны вокруг вытоптанного луга, по которому протекал ручей, образуя небольшой пруд. В верхнем течении был сделан водозабор – деревянная конструкция, которая, подобно мельничному колесу, приводила в действие какие-то механизмы, вероятно для измельчения зерна. Позади домов тянулись огороды и сады, густые и ухоженные, и даже от калитки можно было увидеть созревающие тыквы.

В траве, в это время года уже сухой, белели большие прямоугольники полотна – на деревню словно надели белые праздничные воротнички. Было в ней что-то странное, и вскоре я сообразил, что здесь нет птицы, какую обыкновенно разводят в деревнях: кур, роющихся в земле, переваливающихся с боку на бок уток, неумолчно гогочущих гусынь и агрессивных гусаков.

Наш приезд вызвал настоящий переполох, сперва навстречу выбежали дети, стоявшие на страже и первыми заметившие гостей. Обеспокоенные присутствием незнакомцев, они жались к Моливде, словно к отцу, а тот ласково говорил с ними на каком-то шершавом, неизвестном нам языке. Потом откуда-то появились мужчины в рубахах из домотканого льняного полотна, бородатые, коренастые, кроткие, и лишь потом выбежали смеющиеся женщины. Одежда на всех была белая, льняная – должно быть, они этот лен сами выращивали, потому что на окружающих деревню лугах повсюду сверкали на солнце разложенные для беления куски ткани.

Моливда снял с повозки мешки, наполненные товарами, которые он купил в городе. Велел крестьянам приветствовать гостей, что те охотно сделали, окружив нас и исполнив короткую радостную песню. Приветственным жестом служила здесь приложенная к сердцу, а затем поднесенная ко рту рука. Крестьяне пленили меня своей внешностью и поведением, хотя само это слово – «крестьяне», – привезенное с Подолья, казалось, относилось к какому-то другому виду людей, ибо эти были веселы, довольны и явно сыты.

Мы стояли изумленные, и даже Яков, который обычно ничему не удивлялся, выглядел сбитым с толку: столкнувшись с такой вспышкой сердечности, на мгновение словно бы забыл, кто он такой. И то, что мы – евреи, жителям деревни вовсе не мешало, наоборот, такое ощущение, что они так хорошо к нам относились именно потому, что мы – чужаки. Только Осман, похоже, ничему не удивлялся и все расспрашивал Моливду – то о снабжении, то о разделении труда, то о доходах от выращивания овощей и ткачества, но Моливда не всегда был в состоянии удовлетворить его любопытство: к нашему удивлению, выяснилось, что лучше всего разбиралась во всем этом женщина, которую называли Мать, хотя она вовсе не была старой.

Нас отвели в большую комнату, где за столом нам прислуживала молодежь, девушки и юноши. Еда была простой и вкусной: прошлогодний мед, сушеные фрукты, оливковое масло и баклажанная икра на лепешках, которые пекли прямо на раскаленных камнях, а к этому – родниковая вода.

Моливда вел себя спокойно и с достоинством, но я заметил, что хотя к нему относились уважительно, но все же не как к хозяину. Его называли «брат», и точно так же он обращался к жителям деревни: «брат» и «сестра», то есть все они были друг для друга братьями и сестрами, одной большой семьей. Когда мы насытились, к нам подошла женщина, тоже вся в белом, та, которую называли Матерью, села рядом и тепло улыбнулась, однако говорила она мало. Было видно, что пан Моливда очень ее почитает, потому что, как только она собралась уходить, он встал, мы вслед за ним тоже встали, и нас отвели в комнаты, где мы устроились на ночлег. Все

здесь было очень скромно и чисто, спалось отлично; я так устал, что у меня не было сил все записать по свежим следам. Как, например, то, что в моей комнате имелись лишь постель на деревянном полу да подвешенная на веревках палка для одежды вместо шкафа.

На следующий день мы с Яковом наблюдали, как тут у Моливды все устроено.

Вокруг него – двенадцать братьев и двенадцать сестер, они составляют правление деревни, женщины и мужчины имеют равные права. Когда нужно принять какое-то решение, собираются на площади у пруда и голосуют. Голосуют, поднимая руку. Избы и прочее имущество – колодцы, повозки, лошади – принадлежат всем, общине: каждый берет то, что ему нужно, словно бы в аренду, в долг и затем, используя, возвращает. Детей немного, потому что плодиться здесь считается грехом, а те, что есть, не живут при матерях, считаются общими и воспитываются несколькими пожилыми женщинами, потому что женщины помладше заняты работой в поле или дома. Мы видели, как они красили домики и добавляли в побелку какой-то краситель, так что стены получались голубыми. Ребенку не говорят, кто его отец, и отцу – тоже; это могло бы повлечь за собой неравенство, кто-нибудь стал бы оказывать потомству поправки. А поскольку женщинам-то всё известно, они играют здесь важную роль, наравне с мужчинами, и видно, что поэтому женщины здесь другие – более спокойные и разумные, рассудительные. Счета общины ведет женщина, очень ученая – она пишет, читает и считает. Моливда ее уважает.

Нам всем было интересно, какова роль Моливды: управляющий он, помощник или служит у этой женщины – а, может, наоборот, она у него. Но он над нами посмеялся и ехидно заметил, что мы на все взираем с прежней, дурной точки зрения: непременно, мол, должны быть ступени, чтобы один стоял выше другого и командовал им. Чтобы этот был более важным, а тот – менее. Они же тут, в этой деревне под Крайовой, устроили жизнь совсем иначе. Все равны. Каждый имеет право на жизнь, пищу, радость и труд. Каждый может в любой момент уйти. Кто-нибудь уходит? Иногда, редко. А куда идти?

И все же мы не могли преодолеть ощущение, что Моливда правит здесь на пару с этой женщиной с кроткой улыбкой. Мы все про себя сразу задумались, не жена ли она ему, однако Моливда быстро вывел нас из заблуждения: это сестра, как и все здешние женщины. «Ты с ними спишь?» – спросил его Яков прямо. Моливда только пожал плечами и показал нам большие, тщательно ухоженные огороды, с которых урожай собирают дважды в год, и сказал, что именно этим община и живет, дарами солнца, потому что если взглянуть на это так, как смотрит он, то все от солнца, от света, бесплатно и для всех.

Мы ели за длинными столами, за которые садились все, предварительно проговорив вслух молитву на языке, который я не сумел распознать.

Они не ели мяса, только растительную пищу, реже сыр, если кто-нибудь привозил. Яйцами брезговали, как и мясом. Из овощей не ели бобы, потому что верили, будто в них перед самым рождением могут пребывать души – в зернышках, уложенных в стручки, словно в драгоценные шкатулки. В этом мы сходились: что в некоторых растениях больше света, чем в других, больше всего – в огурце, а также в баклажане и во всех сортах продолговатых дынь.

Они, подобно нам, верили в переселение душ, к тому же Моливда считал, что эта вера когда-то была повсеместна, пока христианство ее в себе не похоронило. Поклонялись планетам и называли их правителями.

Что нас озадачило, хоть мы и не подали виду: это было очень похоже на наши собственные рассуждения. Например, они верили в священные речи, которые использовались во время посвящений. Их святость заключалась в том, что они, напротив, были бесстыдны. Каждый проходивший инициацию должен был выслушать историю, оскорбляющую общественную нравственность, а восходило это к очень древней традиции их веры, еще из языческих мистерий, посвященных древней богине Баубо или распутному греческому богу Вакху. Я впервые услышал эти имена, Моливда назвал их поспешно и словно бы смущенно, но я сразу все записал.

После обеда мы уселись в домике Моливды, чтобы полакомиться сладостями, это была традиционная турецкая пахлава; к ней подали немного вина, собственного – за садами я увидел небольшой виноградник.

«Как вы молитесь?» – спросил его Яков.

«Проще простого, – ответил Моливда, – потому что это молитва от сердца: „Господи Иисусе Христе, помилуй меня“. Ничего особенного делать не надо. Бог тебя слышит».

Еще нам сказали, что брак есть грех. В этом заключается грех Адама и Евы, потому что должно быть так же, как в природе: людям следует соединяться духом, а не мертвым законом. Те, кто объединяется духом, духовные братья и сестры, могут общаться физически, и дети от этих отношений – дар. Те же, что рождены супружескими парами, – «дети мертвого закона».

Вечером они встали в круг и начали танцевать вокруг женщины, которая сохранила девственность. Сначала она была одета в белое, после священного акта сменила одежды на красные, а в конце, когда все, изнуренные безумным галопом, уже падали от усталости, накинула черный плащ.

Все это казалось нам странно знакомым, и, возвращаясь в Крайову, в контору Якова, мы взволнованно, перебивая друг друга, обсуждали это, а потом долго не могли уснуть.

Через несколько дней мы с Нуссеном повезли в Польшу товары и новости. Все время, пока мы ехали, наши мысли были заняты воспоминаниями о деревне Моливды. Особенно был взбудоражен Нуссен: когда мы снова пересекали Днестр, он принялся мечтать о том, что такие деревни можно было бы устроить и у нас на Подолье. Мне же больше всего понравилось то, что там не важно, являешься ли ты матерью или отцом, дочерью или сыном, женщиной или мужчиной. Ибо нет между нами особых различий. Все мы – формы, в которые облекается свет, соприкоснувшись с материей.

12

О паломничестве Якова к могиле Натана из Газы

«Тот, кто ведет себя так безрассудно, как Яков, во время путешествия к могиле пророка Натана, либо сумасшедший, либо святой, – пишет Авраам своему брату Тове. – Мои дела пострадали оттого, что я нанял твоего зятя. В магазине стало больше болтовни и больше посетителей, чем когда бы то ни было, но особой прибыли это не приносит. Как мне кажется, твой зять не годится для подобных дел, но я говорю это не для того, чтобы тебя упрекнуть, поскольку знаю, чего ты от него ждешь. Это человек беспокойный и исполненный внутреннего гнева, он не мудрец, но бунтарь. Он все бросил и, недовольный той суммой, которой я вознаграждал его за работу, вознаграждал себя сам, забрав некоторые ценные вещи, список которых я прилагаю на отдельном листе. Надеюсь, ты сможешь повлиять на него, чтобы он вернул мне деньги, согласно моей оценке нанесенного ущерба. Они – Яков и его товарищи – надумали посетить могилу Натана из Газы, да будет благословенно его имя. Цель достойная, однако эти горячие головы поторопились, уехали, можно сказать, впопыхах, хотя на то, чтобы обидеть одних и взять ссуды у других, время нашли. Здесь Якову больше делать нечего, даже если бы он решил вернуться, хотя, полагаю, он не захочет.

Я искренне надеюсь, что ты понимаешь, ради чего вы выдали Хану за такого человека. Я верю в твою мудрость и глубокую прозорливость, которая часто оказывается недоступна человеку обыкновенному. Однако признаюсь, что после его отъезда я испытываю огромное облегчение. Твой зять не создан для работы в конторе. Думаю, не только для нее».

О том, как Нахман идет по стопам Якова

Наконец в начале лета, разобравшись со всеми делами в Польше, собрав письма и накопив немного товаров, Нахман с Нуссеном отправляются на юг. Дорога, по которой они едут через поле, ведет к Днестру; сияет солнце, небо кажется огромным. Нахману надоели подольская грязь, деревенская мелочность, зависть и грубость; он скучает по висящим на деревьях плодам инжира и запаху каффы, а больше всего – по Якову. Иссахару он везет подарки от Шора, для реб Мордке имеются янтарные капли из самого Гданьска – лекарство, которое помогает от терзающей его суставной боли.

Берега реки совершенно высохли и теперь покрыты коричневой, сухой, как бумага, травой, что рассыпается в пыль под ногами людей и копытами животных. Нахман глядит на тот берег, на юг. Внезапно совсем рядом, в бурьяне, слышится шорох, и через мгновение оттуда выходит черно-белая собака с отвисшими сосками, тощая и грязная. За ней ковыляют щенки. Собака проходит мимо, не обращая внимания на неподвижно стоящего человека, но один из щенков замечает его и в изумлении останавливается. Некоторое время они меряются взглядами. Щенок смотрит доверчиво и с любопытством, потом внезапно, будто кто-то его предостерег, что перед ним злейший враг, бросается вслед за матерью. Нахман воспринимает это как дурной знак.

Вечером они переправляются через Днестр. Крестьяне разводят у реки костры, а по воде плывут венки с зажженными свечками. Повсюду слышатся хихиканье и возгласы. У берега по колено в воде стоят девушки в длинных белых рубахах, подвернутых до середины бедра. Волосы у них распущены, на головах венки. Они молча смотрят на них, евреев-всадников. Нахман уже начинает думать, что это вовсе не деревенские девушки, а русалки, те, что по ночам

выплывают на поверхность и топят путников. Внезапно одна наклоняется и брызгает на них водой, подруги со смехом присоединяются к ней, поэтому мужчины пришпоривают лошадей.

По мере того, как они углубляются в турецкие края, до них все чаще доходят вести о некоем «святом муже». Пока что они не обращают на это внимания. Но сколько так можно? На стоянках, где путешествующие евреи обычно обмениваются собранными по пути сплетнями, обнаруживается все больше деталей: например, что «святой муж» находится вместе со своей большой свитой в Софии и творит чудеса. Многие считают его мошенником. По одним рассказам, это старый еврей из Турции, другие говорят, будто он – юноша из Бухареста, так что не сразу становится понятно, что все эти люди, путники, имеют в виду Якова. Это Нахмана и Нуссена очень возмущает, они не спят всю ночь, пытаясь сообразить, что же произошло в их отсутствие. И вместо того, чтобы радоваться – ведь разве не этого они ждали? – пугаются. Лучшее лекарство от тревоги и беспокойства – ящик для письма. Нахман вытаскивает его на каждой стоянке и записывает то, что рассказывают о Якове. Получается примерно так:

В одной деревне он полдня перепрыгивал на лошади через глубокую яму, свалиться в которую было бы опасно. Усталый конь уже упирался, однако Яков продолжал его истязать. Вскоре вокруг него и ямы стояла уже вся деревня, приехали также турецкие стражники – посмотреть, что это за столпотворение и не надумал ли slučajем народ бунтовать против султана.

Или:

Яков подошел к одному купцу, на вид богатому, полез в его карман, вытащил оттуда что-то вроде змеи и, размахивая ею над головами собравшихся, стал кричать. Поднялся ужасный шум, женский визг напугал лошадей турецких стражников, а Яков так развеселился, что от смеха принялся кататься по песку. Толпа же, устыдившись, увидела, что это никакая не змея, а лента из деревянных бусин.

Или, например:

В одной большой синагоге он поднялся на биму⁹⁴, а когда уже собирались читать «Пятикнижие Моисеево», вырвал из пола пульт и начал им размахивать, угрожая всех поубивать. Тогда люди бросились прочь из синагоги, полагая, что это безумец и от него можно ожидать всего чего угодно.

Или же:

Однажды в пути на него напали разбойники. Яков просто закричал, обратив лицо к небу, и в мгновение ока разразилась гроза с молниями, и это так напугало злодеев, что те убежали.

После чего Нахман дописывает маленькими буквами:

Мы бросились в Софию, но там его уже не застали. Расспрашивали о нем всех наших, и все оживленно рассказывали о выходках Якова и о том, что дальше вся эта компания отправилась в Салоники. Якобы он, будто цадик, ехал впереди в повозке, а за ним другие подводы, телеги, всадники и пешеходы – всю дорогу заняли, пыль стояла столбом. И где бы он ни останавливался, все интересовались, кто это, а получив ответ, бросали свои дела и, наскоро обтерев руки о лапсердак, присоединялись к процессии – хотя бы из простого любопытства. Так нам рассказывали. А еще расписывали стать коней и качество экипажей, уверяли, что там были сотни людей.

⁹⁴ Возвышение, обычно в центре синагоги, где находится специальный стол или пульт для публичного чтения свитка Торы и соответствующего отрывка из книг пророков во время богослужения; название относится также к самому столу (пульту).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.